

The background of the cover is a dark, textured blue with white speckles, resembling a night sky. On the left, there is a stylized illustration of a man and a child standing on the edge of a dark, multi-story building. The man is crouching, looking towards the child, who is standing and looking up. The building has several windows, some of which are illuminated with warm colors like orange and yellow. The overall style is painterly and evocative.

Саша
Николаенко

Жили
люди
как
всегда

Записки
Феди Булкина

Лауреат премии
«Русский Букер»

ШЕ
РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Классное чтение

Александра Николаенко

**Жили люди как всегда.
Записки Феди Булкина**

«Издательство АСТ»

2021

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Николаенко А. В.

Жили люди как всегда. Записки Феди Булкина /
А. В. Николаенко — «Издательство АСТ», 2021 — (Классное
чтение)

ISBN 978-5-17-135750-4

Саша Николаенко – писатель, художник. Окончила Строгановский университет. Иллюстрировала книги Григория Служителя, Павла Санаева, Ирины Витковской, Бориса Акунина, Игоря Губермана. Автор романов «Небесный почтальон Федя Булкин», «Убить Бобрыкина» (премия «Русский Букер»). Маленький человек никуда не исчез со времен Гоголя и Достоевского. Он и сегодня среди нас: гуляет бульварами, ездит в метро и автобусах, ходит в безымянное учреждение. Одинокий, никем не замеченный, но в нем – вселенная. А еще он смертен. Лишь пока жив – может попадать в рай и ад, возвращаться оттуда, создавать Ничего и находить Калитку Будущего... А умрет – и заканчивается история, замечает метель следы. «Небесный почтальон» Федя Булкин, тот самый мальчик-философ, повзрослел и вернулся к читателю в по-хармсовски смешных и по-гоголевски пронзительных рассказах и иллюстрациях Саши Николаенко.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-135750-4

© Николаенко А. В., 2021
© Издательство АСТ, 2021

Содержание

07:01	6
Живые и мертвые	9
Только молча	13
Жертва жизни	15
Божий раб	16
Счастливый случай	19
Повесть о раздвоении личности	21
Алиби	24
Парадокс Эпикура	26
Встань и иди	28
Эскалатор был остановлен	30
Дежурная сводка	31
Черепашу в рай не берут, или Гимн бессмертному Оливье	32
Будь здоров!	34
Оторвался	36
Спасибо!	38
Повесть о коте	41
Ничего	43
Беглец	45
Никому	49
Бульвар Долготерпова	50
Повесть оптимистическая о том, как Федор Михайлович в живых остался	52
Человек без маски	53
Часики	55
Повесть о венской столовой булочке	56
Страшная спутница	58
Мертвый Аркадий, или Три ершика	60
Конец ознакомительного фрагмента.	61

Александра Вадимовна Николаенко
Жили люди как всегда.
Записки Феди Булкина

*Вот Ты дал мне дни как пяди,
и век мой ничто перед Тобой.*
Пс. 38:6

© Николаенко А.В., текст, иллюстрации

© ООО «Издательство АСТ»

07:01

*Сколько света, мира передвесеннего, сходят льды, трава примятая
привстает, а потом ковром одуванчики, синь небесная, грозы майские, ливни
летние, листопады осенние, через вьюгу снежную и забвение – воскресение,
жизнь бессмертная говорит.*

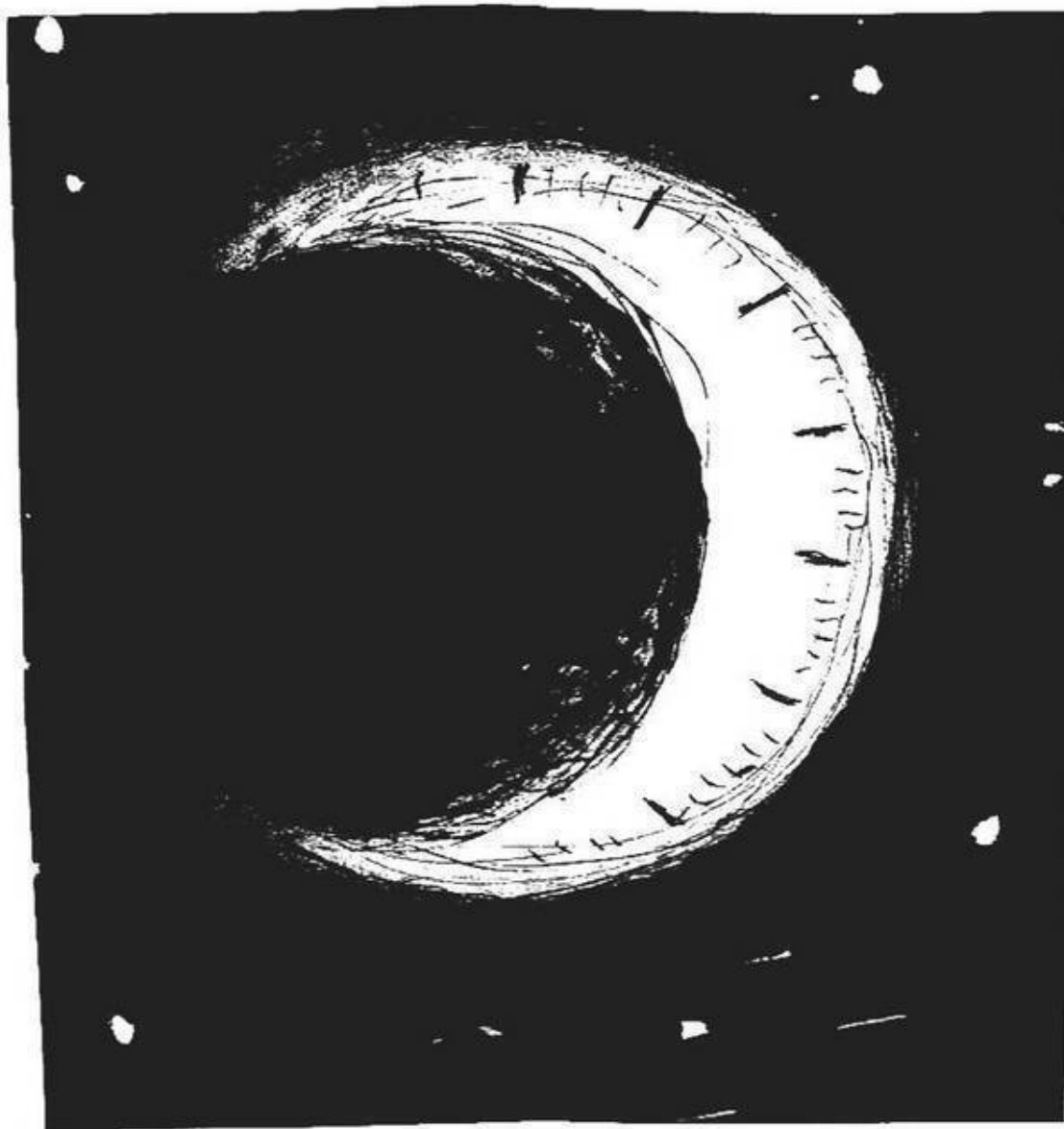
Ф.М. Булкин

В день начала следующей повести Иванов наш Борис Анатольевич появился на проходной, как всегда появлялся он, ровно в семь. Так представьте себе его: с черным зонтиком, седенький, небольшая бородка уточкой, в сером драповом полупальто. Это был человек до странности обязательный, пунктуальный до крайности, но при том не навязчивый этим пунктиком до других. Никому из нас за опоздание не поставит на вид, не укорит замечанием. Так, бывало, только плечами пожмет, улыбнется рассеянно. Это, мол, твое дело и причина твоя, опоздать тебе или поторопиться. И не помним за весь период существования нашей лаборатории, чтоб хоть словом кого из нас попрекнул. Да и сами примером его старались не опоздать. Старой закалки был человек, не сверять куранты, а ставить.

Здесь на проходной у нас система пропуска строгая, НИЦ – национальный исследовательский центр, заведение секретное, военный объект. Мободцы у турникетов стоят с автоматами, с кирпичными лицами, как не мать, прости господи, родила, – из того ларца, где в жилых пуленепробиваемых государство ставит их на поток. И хотя знают всех нас, сотрудников, лицами, однако без идентификации с обыском мышь сквозь металлоискатели не скользнет. Только наше начальство ездит справа, сквозь ворота отдельные, только голуби гадят снаружи и изнутри. По колючей проволоке над заборами, по всей охраняемой территории пущен ток, так что утром, как от остановки идешь, голубей околесивших под забором лежит штук по многу, для устрашения, пока дворник не уберет.

Иванов же наш, как лицо, известное всему научному миру, главный руководитель нашей скромной лаборатории по проблемам возможностей временной энергетики (изучение измерения сверхвозможностей, сверхпроводимостей, термодинамики, радионавигации и всемирного координирования – UTC – с целью использования временной энергетики в мирных целях), шагнул к пропускной, как обычно, ровно в семь, не взглянув на циферблат Временного контроля (ВК), что установлен на входе. И в этот момент случилось невероятное.

– Опаздываете, Борис Анатольевич, – разумеется, узнав профессора, и не в смысле укора, но скорее призывая знаменитого человека приобщиться дружеской шутке, произнес пограничник с электрошокером. Но, торопясь пройти контрольную зону, Иванов, до шутки не приобщаясь, мельком бросил взгляд на временной констатат. Циферблат и в самом деле показывал 07:01.



– Это ваши спешат, – не сверяясь для подтверждения слов своих с часами наручными, без улыбки отвечал академик.

– Ну что вы, Борис Анатольевич, – вновь оскалился пограничник. – У нас не спешат.

И, не желая дальше задерживать ни академика, ни очередности следующих подлежащих проверке, сверившись с показателем идентификации, открыл турникет. Загорелся зеленый свет, зона встретила готовностью обыска. Но профессор остановился.

– Да вы проходите, Борис Анатольевич! – подбодрил замешкавшегося человек с автоматом.

– Попрошу вас зарегистрировать отклоняющий факт, – спокойно произнес Иванов и уставился уточкой-бородой в лицо при исполнении, из кирпичного постепенно становящееся бордовым.

– Ну что вы, Борис Анатольевич. Минута – это такие мелочи... уж для вас... – Человек при исполнении начинал нервничать, начинали нервничать и сотрудники позади.

– Вы понятия не имеете, что такое минута. Зарегистрировать и направить в лабораторию данные расхождения. Мне, – оборвал профессор.

Но на зоне пропуска в нашем секретном учреждении командует не любопытство научное, но то, что охраняет его покой.

– Не задерживайте, Борис Анатольевич, проходите, пожалуйста. Вопросы о направлении данных показателей по ВК в зоне пропуска не решают.

– И где же решают их?

– В порядке целесообразности направления, в соответствии с заявлением руководителя лаборатории, по рассмотрению выше. Пройдите.

Но Борис Анатольевич не двинулся с места.

Позади начинался ропот тех из нас, у кого в результате задержки время уходило впустую. А время – деньги. За одну минуту никто не вычтет из профессора, академика, головы НИИ и светила. Но за каждую минуту подобного пропуска с мелюзги, составляющей тело учреждения, для начальства нашего – миллион.

Иванов обернулся и, сообразив по лицам напавших сзади сотрудников интересы задержанных им на пропуске, шагнул за турникет.

Так бы происшествие это, на первый взгляд незначительное, при последующем рассмотрении грозящее всему человечеству невиданной доселе трагедией, и забылось бы, вероятно. Но не таков был наш Борис Анатольевич, чтоб до этой трагедии допустить. И не важно, что в дальнейшем последовали потери гораздо большие. Они потерями не были ни для нашей лаборатории, ни для НИЦ, и не в пустоту ушли годы, потраченные на исследования и доказательства замеченного на проходной Борисом Анатольевичем расхождения. Ибо расхождение это было зарегистрировано.

Время же, жизнью отмеренное ему самому, закончилось за одну минуту до решения мировой научной комиссии по проблемам временной энергетики в его пользу. Решения, возвратившего всему человечеству шестьдесят секунд жизни.

Живые и мертвые

Сегодня возвращаюсь домой, только дверь приоткрыл, а мне из будки консьержской какая-то бог ее знает кто: «Кто? Куда? К кому? В какую квартиру?»

Это мне-то она?! Да я всю жизнь в этом доме живу! С ума они здесь все посходили...

Ф.М. Булкин

Сто лет не виделись Николай Васильевич с Иваном Петровичем. Время сами знаете как – то растянет на вечность минуту, то жизнь не подождет, пролетит.

И вот они встретились у киоска Роспечати на «Шаболовской», и должны были, казалось, оба встрече той рады быть, но однако же повели себя разное. Николай Васильевич просиял, Иван же Петрович вздрогнул, побледнел, попятился и, судя по его поведению, если бы не приветствие Николая Васильевича громогласное: «Иван Петрович, ты?! Вот те на! Сколько зим!» – то встречи этой нечаянной избежать предпочел. Но судьба избежать не дала, и обидеть неузнанием Николая Васильевича было невозможно и неудобно. С чем отошли они вместе от киоска к скамеечкам, закурили.

Часто время, разделив нас годами, делает чужими, часто годы не властны бывают над прежней дружбой, и странно так: жизнь кипит, ежедневно событиями полнится, а за столько лет, бывает, в рассказ коротенький не наскребешь.

Меж старинными приятелями шел сперва неловкий, обычный для давно не видавшихся разговор, то цепляясь за прошлое, то хватаясь за новое, о политике, ценах... Наконец удержались они за общее меж живущими раздражение днем сегодняшним и по этой ниточке благополучно вернулись в минувшие дни. Так, как будто и не разделило их время... А оно меж тем было хотя и весеннее, а вечернее. С чем вскоре Николай Васильевич кинул взгляд на часы. Иван же Петрович, тотчас это подметив, забеспокоился и, растерянно и даже как-то беспомощно глядя в лицо приятеля, со странной тревогой спросил:

– Ты торопишься?

– Извини, это так, по привычке... – смущенно пробормотал в ответ Николай Васильевич, про себя с удивлением отмечая, что приятель его, хотя мало чем во внешности изменившийся, ведет себя как-то странно, точно за разговором о политике и прежних знакомых скрывает что-то, хочет высказать или спросить...

– Знаешь... – произнес и в самом деле Иван Петрович вдруг нерешительно. – Видишь ли, хочу спросить у тебя одну штуку...

– Что такое? Спрашивай-спрашивай...

– Ну так вот... то есть... Разве ты не знаешь, собственно... Разве никто не говорил тебе...

– Что такое? Что случилось-то?

– Дело в том... что я... так сказать... дело в том... Ведь ты, Николай, в самом деле... ты ведь видишь меня?

– Вижу, разумеется, ты о чем?

– Сам не понимаю, как случилось, что тебе не сказали... Видишь ли, дело в том, что я умер.

И всегда в прежние времена был горазд Иван Петрович на выдумки, но уж эта была так странна и не в прежних его традициях, что не по себе от нее разом сделалось Николаю Васильевичу. Лицо пошутившего выражало сильнейшее беспокойство, в нем читал Николай Васильевич отчетливо: не о шутке и не о выдумке речь. Единственным объяснением была мысль о том, что Иван Петрович... рехнулся.

– Ну ты скажешь, Иван... – промолвил он нерешительно и, не зная, как далее держать разговор, замолчал.

– Уж пять лет тому, Николай. Очень странно, что ты не знал. Я и сам бы тебе не сказал, но, видишь ли, дело в том, что... ты первый, кто меня с тех пор видит.

– Удивительно... – пролепетал Николай Васильевич и, решившись не возражать сумасшедшему, продолжал: – Потрясающе... Надо же... Но какое горе... Как же это случилось?

– Машиной сбило, и, знаешь, вот прямо здесь. – Иван Петрович указал Николаю Васильевичу на гудящий проспект. – Я оттуда сюда шел, и вон там, а она оттуда... Такие дела...

– Поразительно! То есть ужасно... ужасно... – лепетал растерянно Николай Васильевич, пятясь.

– Но ты в самом деле видишь меня?

– Разумеется... ну конечно же вижу!

– Вот что в самом деле поразительно... Понимаешь, я над этим тружусь... работаю! У меня такая теория... Так ты не торопишься? – Сумасшедший в видимом беспокойстве ухватил Николая Васильевича за рукав. – Не торопишься... Замечательно... Пройдемся немного... Я вкратце... – И потянул несчастного Николая Васильевича с собой. – Погода отличная, прогуляемся...

И они пошли вдоль потока автомобильного, от Шаболовской площади в направлении Якиманки.

– Моя теория в том, видишь ли, состоит, что, если не знать о человеке, что умер он, жив он будет... Потому-то и не видят живые покойников, *что знание видения не дает*... Боже мой... Но как это замечательно, что ты меня видишь! Ты же видишь меня?

– Вижу-вижу... – успокаивал сумасшедшего Николай Васильевич. – Но, однако, если ты прав... Это сколько ж покойников среди нас... – И Николай Васильевич, высказав это разумное соображение, ощутив свою правоту, посмотрел на Ивана Петровича с дружелюбной улыбкой, надеясь смягчить этим доводом смятение чужого рассудка.

– Среди вас, Николай. Среди вас, – подмигнул сумасшедший.

– Ну уж ты... – пробормотал, понимая, что доводы не образумили Ивана Петровича, бедный Николай Васильевич, стараясь вырвать рукав из цепких пальцев приятеля. – Отчего же мы их не видим?..

– Да в том и дело, что видите! Видите, да не знаете, потому что в лицо не знаете!

В этот момент Николай Васильевич в первый раз задумался над сказанным ему сумасшедшим и, задумавшись, вынужден был признать, что доля истины – нет, не истины! допустимости – в этом есть. Если не знать, что умер кто-нибудь, он и жив... Но далее мысль не успела развиваться...

– Кошка! – воскликнул Иван Петрович, добавляя лишь большей сумятицы в свою тревожную речь. – Кошка! Кошка... она не знает, что хозяин умер ее, и, если вернется он, так же прыгнет ему на колени, а жена на порог не пустит его... свечи ставить пойдет за упокое... – И добавил с горечью: – Как моя...

– Кстати, как она?

– Замуж вышла...

– Да ты что?! – Фактом этим был поражен Николай Васильевич много более прежнего разговора, ибо факт сей был из реальности, и, быть может, на нем-то и умом нарушился бедный Иван Петрович.

– Так-то вот... И развода не нужно, и имущество не делить... дача, квартира – все ей отошло... а самое обидное, понимаешь... Мне кажется, она меня видела... тоже видела! Когда я вернулся...

Однако на этот раз Николай Васильевич не стерпел слушать бред сумасшедшего, потому что в прежние годы и сам питал надежды некие относительно упомянутой женщины, но она

любила крепко-накрепко рядом идущего и на все надежды Николая Васильевича отвечала отказом. Чтобы утешить помутившегося рассудком приятеля, – тем более дело давнее, прошлое, – Николай Васильевич поделился с Иваном Петровичем своей давешней эскападой.

Иван же Петрович выслушал исповедь со вниманием, и к концу рассказа лицо его выражало огромное облегчение, прояснилось! В глазах сумасшедшего видны были слезы, что лишь подтверждало, что нервы его расстроены и поводом к расстройству действительно был развод.

Давно замечено: увлекательная беседа, о чем бы ни была она, стирает время с пространствами, и к моменту окончания странного этого разговора Николай Васильевич с Иваном Петровичем дошли стеною монастырскою до бульвара.

Здесь они распрощались. Николаю Васильевичу было наискосок. Иван Петрович же сказал, что ему прямо.

Николай Васильевич, чрезвычайно довольный, что нашлось ему чем утешить смятенный разум приятеля, перешел улицу и, остановившись на той стороне, оглянулся.

Взгляд его натолкнулся на совершенно пустынную улицу вдоль стены Донского погоста.

* * *

Добредешь, бывает, до постели своей, день едва дожив, до подушки – и все вертишься, крутишься, мысли дня прожитого, ровно черти, пижаму облепят, уснуть не дают. То не так, говорят, то не эдак, и в прожитом дурак выходишь совсем, и в грядущем, обещают, выйдешь дурак. А однако же переход в морфейное заведение совершается вдруг, да так незаметно, нечаянно, что и досчитать до ста не успе...

Вася Веточкин однажды так крепко уснул, что проспал не только звонок будильника, но и собственную кончину. Он вскочил часу в девятом, понял, что не до завтрака, и, всклокоченный, на ходу застегивая пальто, побежал на работу.

На остановке троллейбусной в наши мерзкие ноябрьские сумерки дела нет человеку до человека, и вообще-то нет, а в час пик особенно – и чем больше людей до тебя поездкой притиснется, тем твое меж них одиночество пуще. С тем никто не обратил внимания меж живых на умершего, все толкаются, он толкается, «Тройка» есть – проходи. И в метро получилась та же история: турникеты – бездушная электроника, все равно ей, покойник ли, не покойник. Проезд оплатил – иди, живых не задерживай, в переходах, на эскалаторах в часы пик у нас и без покойников тесно.

На работе у нас тоже в первые дни никто не заметил, что с Васей что-то не так, что особенно показательно, в смысле том, что зря беспокоимся о внешнем виде своем, прячем друг от друга дырочки на локтях, носки разные по ботинкам, ибо нет среди нас, кроме нас, того, кому есть до нас дело. Но начальнику отделения вскоре пришло извещение о кончине.

Как сказать человеку, что он умер уже? Что ему на службу ходить не положено? Неудобно! Это даже хуже, чем увольнение, даже пенсии хуже... Но что делать? Сказали...

Очень трудно оказалось уговорить, убедить умершего, что он умер, признавать это Веточкин никак не хотел, говорил, что это ошибка. Ерунда какая-то, говорит, да и все. Пришлось вызывать полицию, скорую. С официальным же заключением вынужден был он все же смириться. Словом, еле-еле уговорили.

Утешали, конечно, все его как могли. Все же люди, всё понимаем. Суетились, объясняли, что ничего, что все еще как-нибудь... обойдется, наладится, сбудется, все впереди... Врали, конечно, ну а что было делать? Человек нуждается в утешении перед фактом собственной смерти.

А теперь вот как-то жалко стало его, как-то совестно на душе. Может, зря мы так это всё – хоть при мертвом, да живом человеке? Не пришло бы уведомление, не сказал бы начальник нам, был бы жив теперь Вася, раз мы не знаем. Да и он никому не мешал, даже присутствие его

в отделении вселяло надежду. Как он верить-то нам не хотел. «Да вы что, – говорит, – ребят? Да жив я! Живой!»

Может, зря мы его... убедили?

* * *

Николай же Васильевич Прутиков, с третьего этажа наш сосед, года два как вышел на пенсию. Ходил какое-то время как в воду опущенный, но потом, кажется, по привычке и взбодрился; стал почитывать, стал пописывать, вспоминать, рассказывать, выставки для пенсионеров бесплатные посещать и концерты благотворительные в ДК. И в Серебряный Бор на 21-м троллейбусе: зимой лыжи брал, летом – коврик.

Был он вдов, а дети разъехались, сын жил где-то в Америке, не помним и врать не будем.

Все привыкли, что вечером он выходит прогуляться на улицу и, когда погода хорошая, сидит в парке на лавочке. У него есть даже одна знакомая, с перспективами. Он и в старости остался очень красивый мужчина. И всегда он так: дверь придержит подъездную, чьи-то шаги на лестнице услышав, в лифте подождет, а не то что многие тут у нас.

Очень вежлив, всегда аккуратно одет, побрит. Приветлив и разговорчив. С ним здороваются кассирши из «Перекрестка» нашего и из «Вкусвилла», и соседи, сверстники по ДК, и знакомые, и просто так прохожие... Словом, те из нас, кто не знает, что умер Прутиков по уходу на пенсию, в третий день.

Только молча

Прошел молча мимо окна ее, не взглянул. Ждал спиной, что залает. Пусть попробует, думаю, тут-то и поставлю ее на место... Ничего! Вернулся специально, смотрю: глядит. Я спустился, вышел, постоял у подъезда, погода паршивая. Плюнул, пошел назад. Опять молча. И она – молчит. Молчит и глядит. Очень странная женщина...

Ф.М. Булкин

Мы молчим третий день уж как, всем отделением. Голодовку молчанием объявили. Иногда кажется, что вот-вот не выдержим, так желание говорить подступает, что, думаем, тут и всё, задохнемся. Мне супруга дает на случай приступа с собой яблоки. И как только чувствую, прихватило, – ем, ем, и всё, и всем даю, если худо. Слава богу, в этот дачный сезон девать их некуда. Супруга варенья наварила. Но на урожай несмотря, силы наши уже на исходе, нервы все на пределе. Истощены и физически, а Сергей Николаевич сегодня даже замычал от отчаянья. Но мы все ему кулак показали, что держись, мол, держись! – а я яблоко ему дал. Видно, кислое было, и он, бедный, заплакал.

Но зато уже и в прессе пишут о нас, ролик выложен на ютуб. Только пишут они не с наших слов, не о том, чего мы хотим, чего добиваемся. О своем они все, от себя, чем распространяют только ложные толки.

Раньше было так у нас, что сказать-то нельзя, люди все мы здесь подневольные. Под неволей радость высказать – все одно что донос на себя начальству писать. Как и недовольство равно при нем обнажать не следует, при начальстве. Оно не любит. Друг при друге тоже не следует, потому что ближний ближнему враг на служебной лестнице, как хотите. На одной ступени с другим стоит – спихнуть норовит, на верхней – боязно ему, что спихнут, а на нижней – завидно. Может, и не так, может, плохо думаю я про людей, вы уж сами судите о коллективе своем, а своих-то я знаю...

С тем мы молча смотрели прежде друг на друга день ото дня: смотришь молча человеку в глаза и не знаешь, что он думает, но и он зато тоже не знает. А если заговоришь уже и он тоже, то можно разве что позволить себе впечатления общие о погоде. О ней же, несмотря на все ее подлости, говорить свободно можно даже начальству любое мнение. С ней выходит, даже если правду сказал, то себя самого не выдал, товарища не продал и начальство ничем не обидел; хоть останется все как есть, а ты выскажешь.

Человеку высказать нужно. Человек человеку затем и дан, чтобы высказать, чтобы выслушал. Да он разве слушает? Нет, не слушает он. И что высказал, что не высказал – толку нету. Человеку на то язык дан, чтоб молчать ему было трудно. У нас, правда, был тут один, туда писал жалобы, к Самому... В адресате указывал: «До востребования. Господу Богу». Верил, как дитя малое в божью коровку, что мир от Создателя апостолами сокрыт, от царя отечество, от народа царь. Верил, что до высшей справедливости почту возят. Тут посылку почтой отправить – помрешь, три часа в будний день, а до неба чтобы дошла подобная прокламация, нужна скорость света. Я же думаю, что на небо в небо писать бессмысленно, это все равно что писать на начальство ему самому. Но он у нас и на начальство тоже в небо писал, на учреждение наше, на всех нас заодно, а потом стал и вовсе на жизнь писать, что плохая. Потом ушел он, уволился. Стал писателем. А мы думаем, что свихнулся. Эти все его «довостребные» возвращались со штампом «Уточните пункт назначения». Над всеми нами Бог-Господь, кроме нашего отделения почты. Бывало, спросишь его: «Ну что там, Федор Михайлович, по твоим-то кассациям?» Он обычно только рукой махнет: бесполезно, мол, братцы. Но надежды дописаться не оставлял. Нет на земле справедливости. И в столовой гуляш – одни жилы...

Потому и писателем стал. Так сказать, общечеловеческим стоном, выраженным буквально. Дескать, посмотри же, Господи, что творим Твоим именем. Пятьдесят рублей нарезной!

Стал писателем наш Федор Михайлович, голосом совести, из народа к Царю небесному делегатом. Составлял романы-петиции, предлагал раскрыть карты. Мол, скажите нам наконец, есть ли Вы, и если есть, то какая Ваша программа и тактика, и куда нас ведете, и когда примете меры против нашего невежества и бесправия, нищеты и Вашего гнета. Это значит, хотел, чтобы Тот, кто Себе на народном горбу устроил царство небесное, объяснил, почему Ему так удобней. Я же, скромным моим разумением, так считаю: кто у власти взял трон, ни за что своей волей его не отдаст и к нам не спустится. Я бы тоже к нам сюда не спустился, будь на то моя воля. И не стал бы я в шесть вставать, чтоб на проходной ровно в семь. Так что, думаю, Бог-то есть и власть его надо мной, потому что все делаю против воли: и родился без своего желания, и помру.

Четыре романа-петиции издал наш Федор Михайлович, в том числе написал роман-петицию «Книга жалоб и предложений». В этих «жалобах-предложениях» всю жизнь нашу пунктами о несправедливостях изложил и издал за свои же деньги. Большим тиражом издал, до сих пор на книжных прилавках стоят. Не читают, не покупают. И не потому, я думаю, что им дорого или читатели извелись, но, как говорится, что же правды всем миром искать, когда она в сердце? Так, писал для народа, и для Господа Бога о народе писал, писал-писал, да и спился.

С тем молчим мы третий день уже как. Его светлой памяти. Умереть готовы всем отделом за наше право молчания. Потому что право голоса хоть и есть у нас, а ничего оно не дает; если что и меняет, то только к худшему. А зачем нам эти изменения к худшему, когда нам и так худо?! Если есть что сказать – молчи, вот в чем наша верная тактика. Если ж кто сорвется из нас, есть на этот случай моей супругой данные яблоки. Или чай заварим и пьем с вареньем. Оно сладкое, во рту вязнет, и такое потом ощущение сытное, будто высказался дотла.

Но, однако, предчувствуя полное истощение, не боясь, что сорвемся, ибо не даст сорваться товарищ товарищу, понимая, что от молчания далее сил не будет нам уже говорить, решились сказать, с чем молчим и будем молчать до конца.

С тем молчим мы, чтоб быть услышаны. Светлой памяти нашего Федора Михайловича. Помянуть, почтить и продолжить.

Жертва жизни

Может, это две женичины? Или все же одна она, а я разен? Потому что день один она молча пропускает меня, а другой даже выйти без объяснения не дает.

Поздоровался с ней сегодня при выходе, может, думаю, обратно когда пойду, то она признает меня, раз я уже выходил, пусть без вопросов своих. Не пустила. Стальная женичина. Каждая консержка может управлять государством в этой стране. Книгу, что ли, ей подарить? Чтобы знала, что я писатель...

Ф.М. Булкин

В этот страшный час, вопиющий к отмщению, взглянем горькой правде в глаза! Сегодня нам предстоит проститься с еще одной бессмысленной жертвой. Но! Чья это жертва? Кто убийца?

Бочка вместительна, однако последняя капля способна переполнить чашу терпения. Так пусть же убитый наш станет этой последней каплей. Или так и не отважимся мы никогда признать убийцей убийцу? Вот оно, перед нами: преступление без наказания, очевидное доказательство, его последний итог. Вот лежит перед нами Николай наш Иванович и бессилен спросить: «За что?» Так спросимте же мы за него: «Что он сделал? В чем виноват?»

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что ни на один из вопросов заданных о причинах, целях и замысле произошедшего ответа мы не услышим. Это молчание без всяких слов красноречиво свидетельствует, что происходящему оправдания нет. Нет, не было и не будет. Ибо цели, если и есть они, то заведомо бесчеловечны, антигуманны.

Это есть:

Пренебрежение общечеловеческими и семейными ценностями. Планами и правами. Правом на выбор, отдых и труд, свободу передвижения, образования, здравоохранения. Свободу личности. Сие есть преступный умысел, направленный против всего человечества, где убийство стало средством продолжения жизни.

Здесь уместным будет остановиться на мнениях, характеризующих происходящее как нечто осмысленное, перспективное и прекрасное. Нет и нет, товарищи. Нет и нет. Неосмысленное, бесперспективное. Если только не назвать для всех нас прекрасною перспективою данный итог. Ни один убийца за всю историю человечества не был так бесчеловечно жесток, изворотлив, хитер, равнодушен к бесчисленным жертвам своим как в их совокупности, так и к отдельно взятому человеку. Так кто же этот убийца? Скажем ли наконец? Наберемся ли смелости?

Вот лежит он, жертва преступления очевидного, страшного, жертва невинная, агнец на алтаре. Вот лежит он, жертва неравной борьбы, проигравший и обездвиженный, указуя безмолвием своим на убийцу. Вот он, жертва больших надежд, обещаний липовых, очков розовых, радужных перспектив, несчастный наш Николай Иванович!.. Жертва жизни.

Божий раб

Выбор дан нам, и сказано у пророка: «Можешь сам для себя избрать, ибо это дано тебе», – что, как понимаю я, есть свобода воли. В Священном же Писании сказано: «Ни волос без воли Его», где «волосы», видимо, говорится иносказательно, а имеются в виду мои дни.

Если б дни свои либо волосы я бы волею своей выбирал, увеличил бы количество и того и другого. Но я лыс давно. И дни мои сочтены.

Разъясните же кто-нибудь сей парадокс? Потому что тут, как понимаю я, либо есть, либо нету выбора у меня. Мне в редакции посоветовали средство хорошее от облысения, я купил, подешевле, правда, выбрал, втираю теперь. Вот и вся моя воля.

Однако... нужно будет все-таки подарить этой женищине книгу мою. Подарю! Потом подарю... Лучшие просто буду с книгой мимо ходить... Она спросит: «Книги читаете?» А я ей: «Пишу». Небрежно эдак скажу... И вообще, да ну ее к лешему!

Ф.М. Булкин

Кот Вахтерова был красивый, оранжевой масти, десять лет тому попрошайкой на грани отчаянья взятый из жалости в зиму студеную с улицы. Привитый, лоснящийся, с бакенбардами, вскормленный свежим мясом, рыбой, сметаной и молоком, вынужденно кастрированный из соображений безопасности и страха, что природным зовом будет метить мебель или выпрыгнет из окна. А этаж у Вахтерова был не первый.

«Попрошайка на грани отчаянья» заботой Вахтерова вырос в диктатора-кровопийцу. «Дай!» – вот и все, что умел говорить этот кот, этот раб своему господину.

Да, Вахтеров, без сомнения, был «над котом», даже «дай!» звучало где-то отнизу, но порядок и тон произносимого были приказные, таким образом, хозяин служил рабу, состоя при диктаторе пешкой. Вахтеров был власть под котовьей волей, и Вахтеров честно нес свою бессменную вахту.

Даже поздней ночью вставал он на зов кота, даже днем Вахтеров думал, как ему угодить, и трудился на кошачью миску. Выходило, образование среднее, высшее, магистратура, диплом, диссертация – все это было только для и ради удовлетворения кошачьего брюха. Раз в неделю кошачий раб обходил районные супермаркеты в поисках скидок на сухие корма и все прочее для кошачьих. Кот записан был в две ветеринарные клиники, у кота был даже психолог. Так хозяин служил верой и правдой коту, был по надобностям его на посылках. С тем вершилась мечта человечества: президент на службе отечеству, царь на службе солдату, а не как обычно.

Если блюдо, поданное коту, не нравилось, кот не ел. Кот выдерживал паузу. Он не ел, не ел и не ел, и так до самого вечера. И сие была схватка воли и характеров. Но, однако, к вечеру, увидав засохшие нетронутые руины в миске, Вахтеров сдавался, выкидывал в мусорную корзину коту неудобное и, ссутулившись, шел к холодильнику. Означало это полную капитуляцию господина перед рабом. Означало неуверенность, слабинку царя в своей власти...



Бог сдавался, тварь ела свежее мясо.

И был день. И пища была. И был господин у твари рабом.

Но однажды Вахтеров узнал, что коты едят все. Что едят они даже гречку. Что кот не станет же с голоду умирать, если гречка лежит, а больше есть нечего.

В этот вечер начала противостояния Вахтеров с порога объявил коту ультиматум: «Будешь есть теперь все, что я», – и прибавил категорически: «Будешь». После залил гречку водой и поставил вариться. Разложил увар по тарелкам, сдобрил маслом, поставил себе и коту, таким образом предлагая братство и равенство. Равноправие. Ставя себя с котом... так сказать, в одно положение. «Мы с тобой одной крови», – говорила эта гречка коту. Или ешь то, что я, или... сдохни.

Гречку кот есть не стал. Понюхал. Посмотрел с молчаливым укором и недоумением на Вахтерова, передернулся от отвращения и ушел.

В день второй засохшая гречка была выброшена Вахтеровым. Взамен коту положена жареная картошка.

В тетради наблюдения за котом, специально купленной Вахтеровым по этому случаю, в тот день было вписано: «Ничего мясного больше я не куплю. На равных – значит, на равных. Я же не сам ем, ему не даю, но, напротив, даю ему то, что ем сам. Он меня же унижает, что игнорирует есть со мной мою пищу».

В день шестой Вахтеровым было записано: «Крапивные щи вышли божественны... и из сухофруктов компот».

В день седьмой противостояния читаем у Вахтерова вот что: «Ничего, не помрет. У Евгении Семеновны кошка дыню ест. Он сломается».

В день восьмой: «Да, конечно, у уличных выбор есть: мышь, голубь, крыса или ворона. Но к выбору этому – ни подушки, ни центрального отопления. Жить захочет, будет есть рис. Вот увидим».

На девятый день Вахтеров заметил, сколько выгоды идет без мяса и кошачьего корма его кошельку.

«И желудок налачился», – пишет он на девятый день в той тетради.

В день десятый Вахтерова вечером никто не встречал. Рис в миске засох, но остался нетронутым, и была распахнута форточка.

В тетради Вахтерова было записано незнакомым человеческим почерком: «Ухожу. Лучше смерть, чем твой рис. Лучше воля, чем такой выбор».

Счастливым случаем

Детективы же нравилось мне читать у Агаты Кристи. Все без исключения: и рассказы, и романы, и повести, что во времена моей юности удавалось приобрести на развалинах перестройки. Вот премудрое чтиво! Душеспасительное, уютное. И задушат – не жалко, и отравят – не жаль, и до самого конца не понять, кому выгодно. Кто убийца?

Но когда же начал и сам приобщать я усилия свои скромные к великому делу Шекспира, наступило для меня прозрение горькое, разочарование страшное. Но не в мастерстве пера, а в интриге. Ибо ясно стало как день, что убийца – автор.

Ф.М. Булкин

О счастливых случаях с исходом трагическим зашла между нами речь. Дело было как раз после того, как унесли от нас нашего Николая Андреевича. Вот ведь горе, а? Вот ведь горе. И не знает человек, где ему повезет и что ему к счастью. Рассмешить захочешь Господа, у нас говорят, скажи Ему, что за понедельником вторник.

Николай Андреевич наш, бедняга, шею свернул – так бежал сказать, что он выиграл. Он вот, билетик счастливый его, у нас теперь лежит, выигрышный, лотерейный. Не знаем теперь, что с ним делать, и, конечно, сознаться каждому хочется, чтоб ему. А билетик – видите как? – один. А нас восемь теперь без нашего Николая Андреевича.

Жизнь стремился выиграть человек, покупал билеты эти, заносил в столбцы удачу свою. Так войдешь, бывает, утром в отдел, он сидит уже над газетою и считает. Жизнь стремился выиграть, а выиграл гибель. Вот оно, товарищи, как бывает. А с другой стороны... все Ты знаешь, Господи, все Ты видишь. Человека хоть перед смертью порадовал... Он шею хотя и свернул, а счастливым.

Ведь хорошая это смерть. Зря мы думали о нем – неудачник. Вот она, удача, пришла ему наконец, под конец. С ней, загатою в кулаке, он и умер. Этаким легким концом и не всякому из нас достанется.

Вот мы смотрим на билет этот проклятый, то есть счастливый, что наш Николай Андреевич только что сжимал в кулаке. Уже ему он не нужен, и две мысли терзают нас, теперь восьмерых. Кому из нас он достанется? Так сказать, «не завещан». И что достанется с ним? А то, может, и наследнику билета этого так же кубарем с лестницы суждено? Умереть счастливым неплохо, конечно, но с другой стороны... Может, ну его, миллион этот, к лешему? Как Ты думаешь, Господи? Хоть бы одному посоветовал... Всем нам хочется этот билет и не хочется одновременно. Это и есть то самое, задумка Твоя – насчет выбора... А? Ведь да?

Может, нам на оставшихся живых восьмерых, обналичив, выигрыш разделить? Только сумма уменьшится... Если в самом деле проклят этот билет, то смерть всем достанется поровну. А ее-то ведь не поделишь.

А главное, так и кажется, что все наши «без меня семеро» глядят на меня с пожеланием, чтоб меня из них вычесть. Это значит, чтоб я из них минус. Да и я бы сам убрал из них всех... Только их много больше.

И хотя бы один отказался! А они нет, все мырг, мырг на билет на этот проклятый. Так что даже думаешь, лучше бы он исчез. Лучше б выбора этого не было. Как вот раньше после института распределение по предприятиям. Человеку лучше, если его – в кулак.

Стали думать, как быть с миллионом этим, и, конечно же, пришли к выводу, что несчастье, исходящее от него, – темное суеверие, а с другой стороны, от темного суеверия, недоверия Господу и удаче своей – деньги. Большие деньги. Тут разволновался очень на тему эту

Борис Александрович, а он у нас эпилептик, он диабетик, инсультник, а на этих только чихни. Занервничал, покраснел, задыхается. Захрипел, глядим, но сидим. Как будто черти руки связали... Он, бедняга, бух на пол... И так стало нас одним меньше. Сумма повысилась... Страшный день! А уже время, глядим, к обеду.

Есть всем хочется, а билет этот как тут бросить? Ладно. Заперли мы его в сейф от нас всех. Ключ отдали Семену Васильевичу на хранение. А он, сволочь такая, говорит теперь: потерял! Как, говорим, потерял? А вот так... И мырг, мырг на нас, воровская наглая его рожа.

Шесть нас стало к нему. Говорим, отдавай лучше ключ. По-хорошему ведь хотели. Он к стене попятился, руки, сволочь такая, выставил. Да нас больше. Обыскали его. И действительно... А ведь самый был из нас порядочный, в слове своем ответственный, широко ответственный человек! Ай как стыдно... нехорошо все вышло. Не сдержал себя человек перед выбором. Себя выбрал, так сказать, из всего коллектива. Ключ нашли мы в кармане его пиджака, в уголке, за дыркой подкладки. Бедный был человек. Зарплата маленькая у нас. Еле жизнь живем, еле терпим.

Вызвали и ему неотложку. Только что было нас шестеро его против. А теперь нас шестеро без него, ну и все мы друг друга против. Открыли сейф, он лежит себе, наш билет-то счастливый... Если б просто порвать его по кусочку, то уж очень мало даже на шестерых выходит подсчетами, одна шестая с клочка. Тут Евгений Петрович чай себе заварил. Отхлебнул, глядим, а он, как допрежь его Борис Александрович... эпилептик. И стало нас пятеро. Как в «Десяти негритятах», романе известном. Только там судья над всеми был Зельдин, а у нас судья сам себе – человек. С тем опять повысилась ставка.

Тут погасло у нас освещение. Это часто у нас бывает. Помещение-то полуподвальное. Город строится. С электрической энергией частые перепады. Оказались мы все пятеро в темноте. А как дали свет – три из нас лежат уже не живые, а самое страшное – билет исчез наш счастливый...

Так осталось нас двое со Степаном Николаевичем. И мне ясно уже, что билет у него и убийца он, потому что себя-то я знаю. Я билет не брал, восьмерых не душил. Не травил. Потому что все-таки они люди. И смотрю на Степана Николаевича. А он на меня смотрит с ужасом. Говорит: «Ах ты гадина... дрянь... тихоня...»

Это я-то дрянь? Это я-то гадина... Я тихоня?! У меня сорок лет наработок, стаж, уважение коллектива... На столе пресс-папье, у него же ножницы для бумажек. Это в сумме выходит или каждому из нас с ним теперь по пятьсот, или миллион в одни руки. Выбор естественный, кто же скажет из нас: «Господи! Дай мне меньшее, чем ему...»

Но убил я его не за миллион, а в возмездие, и еще, конечно же, от обиды. Я и слова плохого за всю жизнь ему не сказал, а он видишь как на меня считает... считал.

Как убил его, пошел к сейфу, забрать выигрыш за отдел. Взял билет, сверил цифры.

Вот она, Твоя справедливость, Господи...

На одну всего цифру к лучшему ошибся первый покойник наш. А один из всех он умер без выбора и счастливый.

Повесть о раздвоении личности

*Если б раздвоиться я мог, то один из меня ей сказать бы точно решился:
что вы, женщина, опупели, что ли, совсем? Неделя как сидите вы здесь,
каждый день мимо вас хожу, а вы все меня то не заметите, то не узнаете...
Ф.М. Булкин*

Был один из тех отвратительных дней недели, какими начинена она затем только, чтоб, недостижимо отдалив выходные, указать человеку на невозможную, горькую разницу между целью трудов его и усилиями, приложенными к ее приближению... Еще более значительна разница между кратким часом обеденным и часами делопроизводства.

Время, слава богу, приближалось к обеду, и нетрудно было разглядеть нетерпеливое ожидание во взглядах, бросаемых нами поверх того из нас Федора Михайловича, что сидит под часами.

Внезапно дверь распахнулась, мы обернулись на звук, и в этот момент случилось нечто необъяснимое, ибо на пороге стоял тот наш Федор Михайлович, что сидит под часами, но место вошедшего, несмотря на его очевидное в дверях появление, оказалось не менее очевидно занято, и еще очевиднее – тоже им.

Занявший место Федора Михайловича Федор Михайлович выглядел не менее, но скорей даже более Федором Михайловичем и был одновременно не менее, но скорей более нашего поражен вошедшим. Рот его опрокинулся, глаза округлились, брови сгрудились над переносицей в куст.

Вошедший же, также разглядев сидящего себя за столом своим, тоже переменялся в лице. Оно приняло растерянное выражение, свойственное всем тем, кто, только что привстав с места своего на минуточку, обнаруживает, что оно уж занято.

– Простите... – пролепетал вошедший Федор Михайлович и, обращаясь к двойнику своему, взглядом испуганным призывая остальных нас в свидетели, – это, кажется, мое место заняли, извините... Мое, – повторил он еще, набираясь со страху храбрости, – я сейчас на минуточку выходил... все здесь видели...



Меж тем как уже упоминали мы, что никто не видел из нас, как он вышел. И вошедший был, конечно, Федор Михайлович. Но и сидящий на месте его – тоже он, без сомнения.

Не зная, в чью пользу в такой ситуации высказаться, мы недоуменно пожали плечами. Дело это было не в нашей, собственно, компетенции, двое эти должны были как-нибудь разрешить его друг меж другом сами...

Не дождавшись поддержки от нас, вошедший, войдя, решился войти еще дальше и, пройдя к столу своему, встал над собой сидевшим, не зная, видимо, что предпринять теперь, ибо занявший место его был он сам. И кому в такой ситуации уступать? Самому себе? С какой стати?

Вообразите же сами! Вы, скажем, возвращаетесь из командировки раньше, чем обещали, и там с женой за кухонным, скажем, столом застаете не какого-нибудь любовника, но себя самого! Что же делать? Возмутиться? Вскричать? Прогнать? Уйти самому? Убить? Но кого,

однако же? Себя самого? Это выйдет самоубийство... И к тому же – вот так вот, без всякого повода? Когда жена изумлена вашим появлением не менее вашего, и измены заведомой нет. Ведь она изменила вам с вами!

– Послушайте... встаньте, знаете, лучше так... По-хорошему, – вразумлял вошедший Федор Михайлович сидящего, неуверенно подбирая угрозы и уже не обращая на нас внимания, меж тем как все мы, пораженные, не сводили с обоих них глаз... – Я на вас полицию позову... Пусть они с вами разбираются...

– Пусть, – холодно прервал стоявшего сидящий Федор Михайлович и на все дальнейшие предложения вошедшего принял вид такой, что готов и не дрейфит.

Тут стоявший, не выдержав (да и кто бы на его месте выдержал), кинулся на сидящего, пытаюсь отодрать от стула, но попробуйте как-нибудь отодрать от стула или дивана себя самого! Если б люди умели подобное, на руках бы себя носили.

Замерев, наблюдали ошеломленные мы, остальные Федоры Михайловичи, происходящее, но тут поднялся наконец тот наш Федор Михайлович, что напротив часов, и с облегчением поднялся следом ему тот, что под часами, и все мы, хоть и желали знать, чем меж Федоров Михайловичей закончится, собрались идти на обед.

Здесь настал для Федора Михайловича стоявшего и сидевшего миг решительный, потому что тот и только тот из нас истинный Федор Михайлович, что никакую невероятную ситуацию не променяет на обеденный перерыв. Истинный из них пойти на обед должен был, и уж тут-то бы мы отличили, ибо неистинный, самозванный Федор Михайлович, на месте усидев или заняв его за ушедшим, выдал бы себя, что он не он, несомненно.

Но мы, развязки не дожидаясь, вышли.

Едва успели выйти мы (как рассказывал впоследствии нам Федор Михайлович), оба они, не сговариваясь, оставив свои выяснения, к двери кинулись от стола, подтвердив тем самым даже друг другу, что оба – это они, да так синхронно за дверную ручку взяли, что, благополучно забыв друг другу прежнее раздвоение, единым порывом объединенные, в одно место сляпались, в человека единого, слава богу!

Что разумно было, по общему нашему вердикту. Ибо, во-первых, прекрасно, когда человек находится с самим собой в согласии и гармонии: решил идти – шагай, решил сидеть – так сиди, не мечись. Ну и во-вторых, талон у нас в столовую на день дают только один, в одни руки.

Алиби

Скучно же нам, слава богу, только прижизненно, но не вечно. Ибо жизнь хотя и бесконечна вокруг, но на то мы и есть, чтоб питать ее бесконечность.

Дни же наши, как птички в синем небе, летят... мимо, мимо...

Ф.М. Булкин

Алексей Иванович давно примирился с тем, что *здесь* знают всё. Персональные данные. Каждый год его, каждый день, час, шаг, миг и больше. Каждую мысль. Его привычки, профессию, номер банковской карты, ИНН, индекс и прежний почтовый адрес. Его тихая, никому после смерти мамы не нужная (как казалось ему), одинокая, никчемная жизнь не растворилась и не запуталась в бескрайнем потоке поступавшей *сюда* информации. Груды данных о местонахождении, поведении миллионов Я-пс подвергались здесь тщательному анализу. Алексей Иванович был одной из этих Я-пс, песчинок.

«Песчинка в основе Вселенной» был их девиз, и неприкосновенность частного мира песчинки не входила в понятия СС. Службы Спасения человечества.

«Мы держим под контролем Вселенную, держа под контролем каждого».

«В нашем поле зрения человек? В нашем поле зрения – человечество».

Их возможности слежения не имели ничего общего с системами земного контроля (всевозможными приложениями, охранными телекамерами, КГБ, ФСБ, МВД и пр.).

Ибо персональные данные проверяли они не снаружи, а изнутри.

Они знали и помнили про Алексея Ивановича всё абсолютно. Всё, в то время как сам он, после допросной, не мог припомнить даже лица своего мучителя. Лица «белых», как про себя называл он тех, кто сидел изо дня в день за письменным столом напротив него, сменялись подобно пустым тетрадным листам, какие должен был он посмертно восстановить по собственной памяти, «добровольно», дабы получить полное оправдание жизни своей с пропуском в рай либо обвинительный приговор с пропускным листом в ад. Вспомнить Алексей Иванович должен был все. И пока хоть один день оставался невосстановленным, он был подозреваемым. Обвиняемым в БР БД – бесполезно растратченном Божьем даре.

– Алиби, Алексей Николаевич, алиби, – барабаня костяшками по столу, терпеливо объяснял человек с лицом пустым, как бумажный лист, «человек без лица», сидевший напротив. – Начиная с 1964-го по 2020-й, Алексей Иванович. Это ваше оправдание за жизнь.

Методы получения показаний применяли здесь самые разные; от детекторов, перекрестных допросов, метода припоминания по «смысловым опорным» до «наркотика правды» и «обнаружителя лжи». Не применялся здесь лишь «допрос третьей степени», телесные пытки. Все эти бензедриновые таблеточки, соли ЦК, вырывание ногтей и сверление бормашиной – замечательные способы, изобретенные на Земле и, как правило, эффективные, не применялись. Ибо под пытками человек может сказать все что угодно. Сознаться во всем.

Только мягкие методы применяла СС, методы, когда следователь терпелив и сочувствует. Сочувствует вплоть до достижения результата.

– Нам нужна только правда. Просто вспомните жизнь, Алексей Иванович. Высшей неблагодарностью по отношению к ее Даровавшему здесь является то, что вы ее позабыли.

– Я подозреваемый, а не обвиняемый?

– Подозреваемый.

– Дайте мне адвоката!

– Вы сами себе адвокат.

– Но я не могу... не могу ее вспомнить... я не могу...

– Попробуйте еще. Это ваш единственный способ получить оправдание. Алексей Иванович, ну? Всего-то с апреля 1964-го по... дату кончины.

Человек уже в течение первого часа после получения информации забывает более ее половины, через десять часов в памяти остается 35 процентов. Даже если бы Алексей Иванович зубрил прижизненно свою жизнь, зная, что здесь с ним выйдет такое, он не мог бы вспомнить ее теперь. Только методом Эббингауза начало – конец. И то и то смутно.

– Хотите сказать, что даром потратили жизнь, Алексей Иванович? Дать признательные показания?

– Нет! Нет-нет-нет... – заикаясь, бормотал обвиняемый. Но вспомнить не мог все равно. (Ведь, по сути, не так уж часто в жизни выдается денек такой, чтобы его запомнить...)

И тем не менее постепенно страницы признания Алексея Ивановича были заполнены.

Восстановлены им самим, во всех подробностях, с 1964-го по... кроме одного дня. Дня за номером... Номер этот секретный, СС не разглашает подобные данные. Лишь на один день не было у него алиби.

– Так что же вы делали в этот день?

– Да как что?! Я же вам сказал уже! Я не помню! Не помню... не помню... отпустите меня! Я ни в чем... я не... я не виноват! Отпустите!!! Отпустите меня... – лепетал Алексей Иванович. И ему было все равно куда... только лишь бы его отпустили.

Было очевидно, что подозреваемый со следствием не хитрит. И хотя сперва он пытался выдумать «выпавший день», но, как мы уже говорили, там знали правду.

Рано или поздно кончается все. Жизнь кончается. И был Высший Суд. И его судили. Алексей Иванович за неимением алиби на день № (без разглашения) был осужден за его убийство.

Парадокс Эпикура

Третий день хожу в магазин за солью, выхожу с пакетами полными без нее. Даже стыдно мимо женичины этой ходить. Всё с пакетами я да с пакетами. Ведь она, наверное, женичина бедная, раз консержка? Сегодня же догадался. К кошельку приклеил скотчем записку, что соль купить. Помогло. Взял четыре килограмма на всякий случай, соль в запасе всегда должна быть. А потом подумал, может, мне одну упаковку ей подарить? Чтоб запомнила она меня наконец. В качестве взятки.
Ф.М. Булкин

А в беспомощности Всевышнего, ерунде последней насчет Его всевидящего могущества убедился Чудиков после отказа в просьбе настолько мелкой, по исполнению настолько элементарной, что он мог бы и сам, но и дело было в том, чтоб проверить...

Чудиков попросил:

– Если есть Ты, подай мне соль. Не подашь – тогда Тебя нету. А и если даже и есть, то не всё Ты можешь.

Солонка не двинулась.

Сам же Чудиков, озвучив ересь свою, занял позицию выжидательную, но заочно превосходящую, потому что ясно же, что соль и на сантиметр по клеёночке не подвинется из желания Господа каждому чудику Себя доказать. Это было бы унижительно для Создателя, ибо Он создал рай и ад, нас и вас, северное сияние, закаты, восходы, зимы и лета, океаны, реки-моря, расстояния межзвездные, бесконечности в бесконечностях и, в конце концов, создал соль.



Словом, Чудиков после произнесенного дал Всевышнему шанс. Занял позицию хотя выжидательную (допуская из уваженья к противнику: «Он, может, еще и есть», – и даже втайне надеясь), но продуманную заранее, заранее превосходящую, в этом сходную с позицией «киндер мат». А в этой позиции, как известно, младенец побеждает гроссмейстера. Все вопросы, составлявшие эпикуровский парадокс, внезапно хлынули в голову: «Ты всесилен? Всеведущ? Знаешь ли, что творишь? Почему не изменишь? Можешь ведь изменить...»

Но солонка не двинулась.

С тем, как прежде, без ответа остались вопросы вечные человечества, но не в этом худшее. Оно в другом: все мы живем надеждой на то, что солонка подвинется при помощи нашей веры в хорошее и... бессовестной лени.

Встань и иди

Не взяла она соли.

Ф.М. Булкин

Глубоко за полночь, незадолго до рассвета холодного с незнакомым голосом в голове проснулся в собственном теле некий Лев Борисович Птичкин. «Встань и иди...» – эхом затихая вдали, продолжал повторять вселившийся голос.

Лев Борисович вяло пошевелился, ощутив коленями свинцовую тяжесть свернувшегося кота, спихнул с себя мохнатого и прислушался: голос стих. Кот спихнутый смотрел из-за валика на хозяина глазами, желто горящими, отстраненно и равнодушно. Лунные отсветы постепенно обрисовали во тьме Льву Борисовичу очертания реальности, проступили плотности подоконника, шкафа, письменного стола, в каких ничему потустороннему из мерцательной галлюциногенной области, свойственной пограничному состоянию, не было места. Лев Борисович успокоился, смежил глаза, но лишь только смутные желания грядущего улеглись, угроза настоящего растворилась, а мысли стали приобретать очертания размытого пережитого, незнакомый голос вернулся вновь.

«Встань и иди!» – раздалось в голове настолько пронзительно и повелительно, что, открыв глаза в ужасе, Птичкин долго сравнивал голос этот с ненавистным звоном будильника, опасаясь уже вставать. Господи, как же противен нам этот призывающий к действию звук, отвратителен каждое Твое утро и как же благодарны мы будем ему... на том свете.

Голос, призывавший Льва Борисовича к непонятным действиям среди ночи, слава богу, не имел никакого сходства с будильником. Из бурильной же установки будильника следовало, что спать Льву Борисовичу можно было дальше хоть целую вечность.

Кот, мурча, взгромоздился снова на колени, жмурясь, согревая тяжелым брюхом, уложившись поверх подобием кирпича, не давая Птичкину шевельнуться. Кот, известно, сила потусторонняя, тьму прозреющая, сила нечистая, потому кот всегда умывается. Птичкин даже читал в каких-то статьях, что коты во сне душат весом своим стариков и младенцев.

– Сгинь! – велел он коту, но кот мурчал, точил мохнатые лапы о пододеяльник, и Птичкину было слышно в темной ночи, как – цык-цык, цык-чмок – вонзаются в ткань с цветочками кошачьи когти.

С трудом колени согнув, Лев Борисович образовал из них вершину пододеяльную, после чего животное возвысилось над хозяином неподвижной мурчащей глыбой. После Птичкин наклонил синхронно колени свои, кот пал, свернулся где-то под сердцем и опять смотрел на Птичкина желтым глазом. Ощущение было противное, точно кот караулит, точно только и ждет, что Птичкин уснет, даже вот и фамилия у Птичкина относительно кота какая-то беззащитная... Однако мысль эту Лев Борисович недодумал.

Стало тихо. Ночь была зимняя, лунная, колдовская. Звезды острыми морозными стразами по узорам роз из чистого оконного хрусталя рассыпал Господь в царстве вечном. Лев Борисович успокоился, на подушке помягче устроился, подтянул одеяло повыше, выдернув угол из-под кота, и закрыл глаза снова.

«Встань и иди!!!» – заорал на Птичкина голос, да так, что несчастный не выдержал и, отбросив одеяла укрытие, ошалело моргая, вскочил.

Он стоял, озираясь глазами безумными, посередь черной комнаты в темноте. Голос стих, и куда звал он Птичкина, пусть останется неизвестным. Однако, немислимыми усилиями преодолевая сна притяжение, в полной тьме пробрался Лев Борисович Птичкин от ложа удобного к письменному столу. Среди ночи вспыхнула настольная лампа.

Написав, почувствовал Птичкин облегчение необычайное, легкость, будто только что высказал нечто самое главное, совершил открытие невероятное, только для этого открытия он и жил. С чем он и вернулся в постель.

Через шесть минут Птичкин спал. Через семь минут Птичкин умер.

Хоронили покойного, по единственной просьбе его, согласно написанному...

Лев Борисович завещал: «Без будильника не хороните!»

Эскалатор был остановлен

До чего неприятная женщина, боже мой! Иду сегодня мимо будки ее, изготовился, думаю: больше ждать не буду, что она сделает, сразу книгу ей подарю...

А в окне темно. На двери замок. Чтоб она провалилась!

Ф.М. Булкин

«Не бывает счастливых случайностей, несчастливых случайностей не бывает. Не бывает вообще случайностей, это все чей-то замысел, умысел надо мной...» – проходя по знакомой улице, думал так. Он глядел на знаки дорожные, он читал внимательно магазинов витринные надписи, ведь тут каждый шаг его был заведомо вымерен, предрешен.

«Вот написано “ВХОД”, и знают они заранее, что я здесь войду, а нигде больше». Он хотел было не войти, но наутро в пиковый час со спины всегда подпирают. С тем был втолкнут, протолкнут далее вслед общему направлению, идиотом три раза назван был, три – бараном и два – ослом. На него повеяло кассами, теплым ветром дыхания подземного. Никуда ты отсюда не денешься. Проходи турникеты подземные, да еще за это плати.

Лишь у спуска толпа расслабилась, распределилась и успокоилась, по ступенечкам замерла. Объявила дежурная станции: «ЗАНИМАЙТЕ ОБЕ СТОРОНЫ ЭСКАЛАТОРА», – он вздохнул, на ступеньку встал, опустил перчатку на поручень, удивленно разглядывал лица встречающих. «Этот тоже... и этот тоже, и этот, и тот...»

Лица их эти бледно-зеленые, равнодушные, точно мертвые, точно... мертвые? Как покорно едут вверх-вниз, вверх-вниз, эти бедные, обреченные, не живущие, как выходят, входят, слоняются овечьими толпами. Как в экраны таращат глаза пустынные, тетрис, танчики, одноклассники, однокласснички обреченные, все заранее обреченные, предрешенные, за вагоном вагон, за поездом поезд к станции... Все заранее мертвецы.

На подъезде к окончанию эскалатора, где, сложив ступеньки, идет за новой партией человечины эта чертова лестница, он внезапное принял решение, развернулся и пошел по текущему вниз конвейеру вверх.

Это было движение всполошенное, всем на спуске мешавшее, но упорное, очень упорное. Но на месте.

Проезжая мимо него вниз и вверх, пассажиры подземного транспорта оживлялись лицами, можно даже сказать, оживали на миг, удивляясь поведению этого против всех и всего восстановшего, поменявшего направление человека.

Он, растрепанный, задыхавшийся, занимал постоянное положение против рекламы «М.Видео» – вверх и против.

Он бежал, умножив волей усилие, толкаемый встречающими, обзываемый, но не сдаваясь, не отвлекаясь и не откликаясь. А ступени сменялись ступенями, тек по кругу общего направления металлический зубчатый километраж, вниз скользила в резиновой гладкости, не встречая сопротивления, черная лента перил. И на этой сверхсиле движенья души и разума, против всех законов человеческих и божественных, билось сильно, смятенно и радостно, билось живо в первый раз с юности его сердце.

Он упал как подкошенный, направлением вниз проволооченный, став внезапно угрозой движению, баррикадой, пробкой над лопастью, запятой на пути. Кем-то большим, чем был прижизненно, кем-то лучшим, чем он в ней был.

И случилось чудо, подобное воскрешению, непривычное совершенно для вечности, неудобное для удобного движения пассажиров. Эскалатор был остановлен.

Дежурная сводка

«Всякая власть от Бога», – говорил Сатана.

Вон, сидит, чай пьет, занавески развесила. И хотя примета это верная, что она все же женщина, но она, я думаю, занавески повесила б и на проходной в ад...

Ф.М. Булкин

В половине седьмого вечера в полицейское дежурное отделение МВД по району Хорошево-Мневники, ул. Берзарина, д. 35, стр. 1 обратился с просьбой зафиксировать факт преследования с угрозой для жизни граждан Пыжиков Валентин Платонович, 1976 года рождения, проживающий по адресу: Москва, улица Народного Ополчения, д. 23, кв. 5.

В заявлении гр. Пыжиковым В.П. было указано, объектом каких именно преследований он является и может быть подвергнут впредь.

В качестве доказательства совершенных против него противоправных действий, несущих угрозу жизни, гр. Пыжиковым В.П. были предоставлены к рассмотрению следующие документы.

Зафиксированная медицинскими работниками травматологического пункта № 4 травма, степень тяжести, время и место ее получения. Две больничных выписки, эпикриз, лист нетрудоспособности и амбулаторная карта.

После рассмотрения предоставленных гр. Пыжиковым В.П. документов факт совершенных относительно него противоправных действий был зафиксирован. Гр. Пыжикову В.П. был выдан талон КУСП – квитанция, удостоверяющая, что заявление принято. Заявление было передано сотруднику полиции по месту жительства заявителя, участковому Подосееву П.П.

Однако предпринять действия к дознанию по данному заявлению Подосеев П.П. не успел, так как в день принятия заявления гр. Пыжиков был убит на месте по выходе из отделения молниевым разрядом.

В связи с фактом гибели заявителя следственными органами была произведена тщательная проверка. При рассмотрении вопроса о возбуждении уголовного дела было принято решение отказать, так как в заявлении на вопрос, с чьей именно стороны погибший терпит угрозу, гр. Пыжиковым В.П. был указан гр. Бог.

Черепашу в рай не берут, или Гимн бессмертному Оливье

Страшное дело привычка, товарищи! Трудно отказаться от нее даже в мелочах, что уж говорить о самой главной из них – о жизни? В сущности, жизнь, конечно, штука дрянная, несправедливая, неудобная. Летом жарко, зимою холодно. Люди сволочи. Много их. Денег нет. Троллейбусы вечно битком, рожи хмурые, сам в зеркале покойник покойником, колбасу не знаешь из чего они теперь делают, молоко порошковое... сколько стоит зуб один починить!.. И так целый день все тужишься, пыжишься, пока все это не кончится... А там – завтра.

Ведь это ж какое ангельское терпение нужно иметь, чтоб жить?! С другой стороны... бог их знает, может, там еще хуже?

Раньше дом наш здесь один такой был, из «семидесяток» хрущевских башня. А теперь башни эти, как клыки, отовсюду торчат и всё выше, выше и выше. Остановки же «Детский мир» больше нет. Магазины «Юность» нет, нет и игровых автоматов. Может, и права она, железная эта женщина, что не верит в то, что здесь я живу. Я и сам-то, когда на все на это смотрю, думаю, не ошибся ли адресом...

Ф.М. Булкин

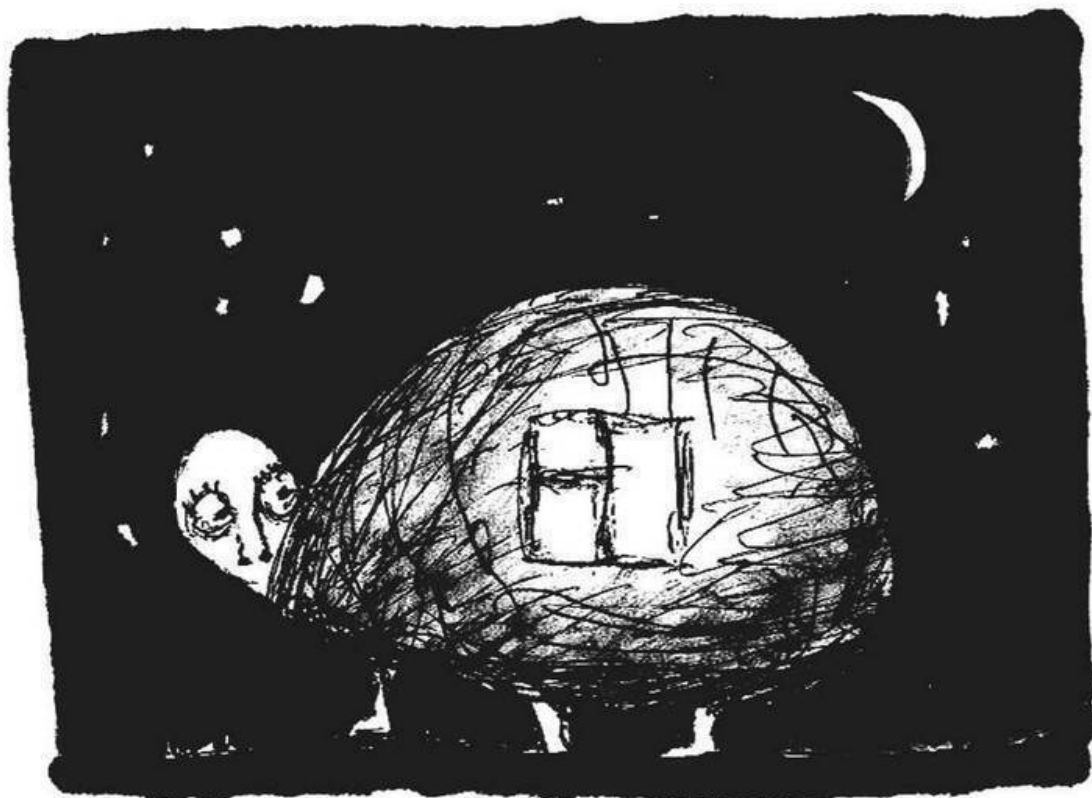
Коля Здешиков торопился. «Черепашу в рай не берут», – говорил Коле папа. Вставай, Коленька, опоздаешь! Одевайся, Коленька! Торопись!

Всякий раз ему было совестно не успеть. Всякий раз наступала в нем паника, если он не мог найти ложечку для сапог. Время коротко, Коля Здешиков ненавидел шнурки. Ибо каждый стежок шнурка есть добавочная петля на отрезке времени. Даже ставил часы вперед – получить хоть сомнительную отсрочку. Ведь, в конце концов, в этом мире все относительно, все сомнительно в этом мире.

Он не шел, как вы, стараясь сохранить независимость, вдоль открывшего двери поезда по подземной платформе, но бросался в открытые двери как на амбразуру и в вагоне, толпой попутчиков сдавленный, чувствовал облегчение, что успел...

Но однажды, наискосок сокращая путь по Введенскому кладбищу, где являет жизнь несомненную альтернативу спешке, пробежав вдоль открытого колумбария, от Лефортовского надгробия до надгробия от надгробия за надгробием, Коля Здешиков неожиданно оборвал свой путь возле памятника человеку бессмертному, вроде Александра Сергеича, новогодними буднями увековеченного, – знаменитому повару Оливье. И предстала Коле черед лет, отмеченных этим салатом. «Странный праздник», – внезапно подумал он, холодея от страшной догадки. С тем пришло к нему понимание, к какой цели и зачем его торопили.

Таким образом, в некрополь Лефортовский, дабы сократить путь, вошел один человек, а вышел другой. Да и вышел-то не совсем. Совершенно иной человек стоял перед светофором на площади, благодарно глядя на красный. Постояв у красного, переждав еще один зеленый, он не ринулся вслед всем – развернулся, пошел обратно... Вот идут они толпами, обреченные, тротуарными тропами, обгоняют, отпихивают друг друга, тянут шеи, встают на цыпочки, чтоб увидеть, не брезжит ли там... надежда.



У могилы француза бессмертного сел наш Коля на лавочку. И затих.

Мимо плыли облачные громады неба столичного, обгоняли друг друга звери небесные: вдоль старинных стен, саркофагов и усыпальниц, над течением речки Синички, мимо Васнецова и Пришвина до Абдулова... Создавая немолчный гам, за высокими стенами мчались, гудели истошно, встав на светофоре, автомобили. Прыг-прыг, прыг-скок, проскакал мимо Коли воробушек, пролетел, кувыркаясь, осенний листик. Был он мертв, опалово-ал, а однако же торопился... Коля – сидел. Время шло. Но шло оно мимо.

Будь здоров!

Все бежишь, бежишь, продираешься, пробираешься, то скрываешься, то ругаешься, то один тербит тебя, то другой. Всем ты нужен, кажется, а оглянешься... одиноко так на земле.

Показалось сегодня, что чихнула она. Может, там сквозняк у ней в комнатке? Дверь же – то туда, то сюда. Людям разве ходить запретишь?

«Будьте здоровы, – говорю, – женищина!» А она: «Я вам не женищина. Вы к кому?»

Это я-то к кому?! «К себе», – говорю. Тьфу ты господи, что за кобра.

Ф.М. Булкин

– Будь здоров! – услышав, как чихнул в своей комнате Валентин Семенович, прокричал из своей Михаил Сергеевич. Прокричал и прислушался. Нет ответа.

– Будь здоров! – набрав голосу, еще раз прокричал Михаил Сергеевич. И опять прислушался. Нет...

– Будь здоров! – с подступающим раздражением прокричал еще раз Михаил Сергеевич и прокричал снова, три раза, так что даже мы бы услышали, несмотря на расстояние во времени: – Будь здоров! Будь здоров!! Бу-у-будь здо-ров!!! – С чем, охрипнув, взял передышку. В этот миг Валентин Семенович чихнул вновь.

– Скотина такая... – прохрипел Михаил Сергеевич и, уже с трудом набрав воздуха, прошипел: – Будь здоров...

Поскольку вышло едва-едва, размахнулся и крепко ударил тапочком в стенку. И отбил себе палец.

Михаил Сергеевич взвыл. Он взвыл тихо, насколько хватало теперь возможностей связок. Взвыл, запрыгал по комнате, проклиная. Все мы прыгаем так, когда отобьем себе палец. Это больно, но обида моральная – нерасслышанность – всегда стоит выше физической боли. И слезы смешались и проступили.

Михаил Сергеевич плакал и прыгал. Плакал-скакал. И мы знаем об этом, понимаем его, но Валентин Семенович об этом не знал, хоть и был к Михаилу Сергеевичу много ближе. И поэтому он чихнул еще раз. В этот раз Михаил Сергеевич промолчал, проскакав еще несколько в ожидании, чтобы боль отступила. Боль притихла. Она улеглась. Это даже лучше, что все проходит. Но только в ступне. В душе же лишь воссияла. Загорелась, зажглась с новой силой, и... Михаил Сергеевич бросился, бросился и еще раз бросился на перегородку, безмолвную, безответную, с кулаками. Стена отбивала удары, отнимала силы; отчаянье возвращало силы и придавало надрыв.

– Будь здоров! Будь здоров! Будь здоров! – Вбивались в окаянный бетон кулаки, сверху сыпалась штукатурка, Михаил Сергеевич был сед, а сделался бел, спина и плечи его покрывались мелом побелки. – Будь здоров... Будь!.. Бу-у-дъ здоров! Чтоб ты сдох, скотина глухая...

В детстве слушают наши глупости бабушки, мамы слушают, умиляются, удивляются, самые красивые девушки в юности восхищаются, потрясенно взмахивают бархатными ресницами над речами нашими... Магистранты рукоплещут нашим дипломам, седовласые деканы, профессора кивают нашим блестящим доводам. Наши дети повторяют за нами от аз до я... Дважды два будет столько, сколько мы скажем, но... К сожалению, это быстро проходит. И на довод детей и внуков своих «там тебе будет лучше» мы со временем, не от согласия, соглашаемся. «Там будет лучше нам, где уже нас не будет».

Михаил Сергеевич с Валентином Семеновичем были из тех, согласившихся. Они жили в комфортабельном пансионате для престарелых и инвалидов «Добрый уют» с ежедневным посе-

щением и питанием в Нагатине. Впрочем, посещать Михаила Сергеевича с Валентином Семеновичем было некому, так что сами они посещали друг друга.

Более не комментируя, позабыв, что желал, Михаил Сергеевич бросался на стену. То была не простая стена из бетона-картона. А та стена, что отделяет доброе пожелание от плохого (а их много что отделяет), старость от юности, жизнь от смерти, ненужность от нужности. Так каждый из нас со своим стучится в ворота к Господу.

– Чтоб тебя... Чтоб вас всех! Чтоб вас так... – Михаил Сергеевич бил и бил. Валентин Семенович все чихал. Но уже все реже и реже.

Вскоре стихло. Стало слышно, как капает в общей уборной в конце коридора кран. Михаил Сергеевич сидел на полу своей комнаты обессточенный, ошеломленный... Ничего никому не желая.

В этот миг в его дверь постучали.

– Да-а-а?... – едва слышно откликнулся умирающий.

– Миша, это я. Чего там затих? Ты живой? Давай в шахматишки? – произнес с той стороны двери ни о чем не подозревающий Валентин Семенович. Михаил Сергеевич хотел ответить, но не успел, ибо сам чихнул оглушительно.

– Будь здоров! – пожелали из-за двери. И тогда, с трудом поднявшись с колен, всклокоченный, белый, тлен побелки отряхивая с плечей, Михаил Сергеевич мстительно распахнул ему дверь и просипел:

– В шахматишки... Да? В шахматишки тебе? Старый ты тетерев... пень глухой... да иди ты к лешему! – И добавил с сокрушительным облегчением: – Ну, чего стоишь? Заходи!

Оторвался

Решил не узнавать ее тоже. Она, думаю, все же женщина, ну а если женщина, то будет ей неприятно, что не узнаю я ее, и запомнит тогда меня – по примете, что ее я не узнаю.

Выполнил, как решил. Она, как обычно, мне: «Кто?! Куда?» – а я сделал вид, что и знать не знаю ее, но ответил: «Булкин Федор Михайлович, в шестьдесят третью...»

И вот стала узнавать меня вроде бы. Увидала сегодня, что я, ничего не спросила, рукой махнула и отвернулась. С одной стороны, хорошо, что узнала, да? А с другой стороны – как на муху.

Ф.М. Булкин

История эта теперь подходит к концу, ибо уже более месяца как замечал за собой Андрей Петрович Потелькин слежку. Следившие за ним были самые разные внешности, чаще всего прилично обыкновенные, не вызывавшие подозрений, и это было более всего подозрительно. Первое время Андрей Петрович очень терзался, стараясь доискаться повода: где и что такое именно он натворил, в чем подозревают его, – однако со временем причины эти стали не так важны в сравнении с фактом слежки.

Следившие за Андреем Петровичем вели себя так профессионально и слаженно, что первое время Потелькин вовсе не замечал ничего такого за ними, но только какое-то неприятное, раздражительное чувство вызывали у него поездки в общественном транспорте, проходные, металлоискатели, встречи, идущие следом и впереди.

Однажды чувство, что его преследуют, сделалось так нестерпимо, что Потелькин не выдержал и оглянулся. И тотчас заметил человека, без сомнения, идущего вслед за ним. Еще стараясь убедить себя, что в этом нет ничего особенно подозрительного, Андрей Петрович тем не менее остановился, сделав вид, что разглядывает витрину, ожидая, когда человек, за ним шедший, пройдет, и постоял у витрины еще, выжидая, пока тот дойдет до конца улицы, и только тогда тронулся дальше. Однако неприятное чувство погони преследовало по-прежнему, и Андрей Петрович обернулся опять. За ним шли. Шедших было несколько человек, и кто именно шел за ним, было не так-то просто определить. Сразу же пришлось разумное решение выяснить личность следившего, зайдя в аптеку. Тот должен был пойти следом.

Так и случилось.

Следившая за Потелькиным оказалась пожилой женщиной с очень приметной бородавкой, что показалось ему еще более странным и подозрительным, потому что для слежки, как считал он, требуются личности неприметные. Тем не менее женщина поднялась за Андреем Петровичем по ступенькам и, когда он, стараясь оправдать свой заход в аптеку лекарственной надобностью, подошел к кассовому окошку, встала за ним. В этот момент Андрей Петрович сообразил, как от нее отделаться. В любом случае бородавчатая, чтобы не привлечь к себе его внимания и не вызвать в нем подозрений, должна была что-то из лекарств попросить в окошке провизора после него, и это давало шанс на побег. Расплатившись, Андрей Петрович бросился из аптеки вон, а выскочив на улицу, зашагал в противоположную прежнему своему направлению сторону, логично предполагая, что как только следившая за ним выбежит, то помчится в ту сторону, в какую он направлялся прежде. После арки третьего дома повернул он за угол, уповая, что этим нехитрым маневром уйдет от хвоста, и, желая убедиться в том, обернулся снова.

Теперь за ним шел мужчина самой непримечательной внешности, каковая с головой его выдавала. Андрей Петрович едва сдержал себя, чтобы не побежать, однако в этот раз не уско-

рил шаг, но замедлил, так что неприметный вынужденно обогнал его тротуаром и, стараясь скрыть собственный провал, прошел даже не оглянувшись. Таким образом, Потелькин оказался за спиной своего врага и теперь сам мог следить за ним. Роли переменились, однако преследователь, шагавший теперь впереди Андрея Петровича, был, видимо, из бывалых, опытный волк, и потому в какой-то момент тоже почуял слежку и обернулся. Андрей Петрович наклонился, делая вид, что завязывает шнурок, и, когда остановившийся пошел дальше, для отвода глаз перешел на другую сторону улицы. Однако преследователь, отыскав его взглядом, ускорил шаг. Потелькин вынужденно ускорил свой. Наконец спешивший той стороной тротуара перешел на рысцу, и, поняв, что вот-вот упустит его, Андрей Петрович припустил тоже. Однако страх (или опыт в делах погони) придал убегающему сил. Какое-то время оба бежали по противоположным сторонам улицы почти наравне, но преследователь оказался быстрее. Совершенно неожиданно кинулся он по ступенькам одного из подъездов длинного дома, распахнул дверь и решительно захлопнул ее у Потелькина перед носом.

Лицо Андрей Петровича, остановленного этой преградой, на какой-то миг исказило отчаяние, он беспомощно замер, оглянулся, посмотрел вперед, назад и еще раз туда-сюда, и наконец робкая улыбка озарила лицо ушедшего от погони.

«Оторвался!...» – с немислимим облегчением понял он.

Спасибо!

Сколько помню себя, всегда говорил «пожалуйста», а «спасибо» как-то не успевал. Потому это может быть, что «пожалуйста» всегда впереди стоит пожелания, а «спасибо» – его позади...

Ф.М. Булкин

Два черта сидели как-то на остановке 59-го троллейбуса, с этой стороны «М.Видео». Одного звали Иван Иванович, а второго – Семен Семенович. И они там сидели, плевались на асфальт, грызли семечки и разговаривали о жизни. Жизнь им не нравилась. Обоим. Она их не устраивала абсолютно, и поэтому им было о чем поговорить.

Кстати, вы заметили, что жизнь вообще никому не нравится и никого никогда не устраивает? Всем она не по нутру, у кого ни спроси. Поголовно. Мы спрашивали. Оказалось – точно: есть у жизни такое неприятное свойство. Иногда даже кажется, что несчастное человечество живет надеждой дотерпеть до Судного дня, а там уж отыграться на жизни как следует за все ее неприятности. Расслабиться где-нибудь в райском саду под пальмами. Там же должны быть пальмы? Бананы? Киви-кокосы... Не знаем...

И ананасы?

Но ананасы-то точно должны там быть! Где-то же они есть?

На каком-нибудь морском побережье. На Майорке или, на худой конец, на Гавайях. Попивать пиво, плевать семечками и вспоминать о жизни как о кошмарном сне.

Такое чувство, что у этих самых врат, к которым человечество так упорно стремится, не стоят секьюрити, под стеной не прохаживаются полицейские с дубинками, не действуют навигаторы и детекторы и не работают спутниковые системы слежения. Точно человечество само по себе такие системы придумало. Точно до него никому это и в голову не приходило...

Как будто все уверены, что «там» как тут, только лучше: котлы давно не варят, вертела не вертятся, весы не взвешивают, а черти отлынивают от работы, как здесь, или берут взятки и отступные, как все нормальные черти. Словом, такое чувство, что здешнее недовольство тем, как все тут, «там» является билетом в Анталию. Или золотой картой Центрального банка.

Два наших черта знали, что все не так просто. Знали, что все это мираж – глупая человечина. Самообман и иллюзия. В Аду работали оба, и там, честно говоря, тоже приходилось несладко. Конечно, потеплее, чем на остановке 59-го троллейбуса, но так потеплее, что вспоминать об этом особенно не хотелось.

Рай, разумеется, тоже был. Но о нем не хотелось тоже.

Семен Семенович, например, отработал на производстве у котла и вертела без малого 224 года: без выходных и праздников, обедов и ужинов, без всяких там льгот и премиальных с авансами. Без надежд на пенсию с повышением. Словом, без всяких иллюзий. И вот вдруг получил внезапно командировку на остановку 59-го троллейбуса, только благодаря... неизвестно чему.

Он сидел испуганный, лысый, маленький, и все время вздрагивал и елозил – боялся, бедняга, что «там», внизу, разберутся и опять его заберут...

Иван Иванович был отвратительно молод и гнусно самонадеян. Он появился на остановке не по жалкому командировочному листку, как бедняга Семен Семенович, а был тут в отпуске – на выходные. То есть совершенно за здорово живешь.

Иван Иванович был в отутюженной атласной рубашке, стоявшей колом у ворота, и модно потертой кожанке с молниями наперерез. Он сидел, попирая левым коленом беднягу командировочного.

То был бабник и негодяй. Но с протекцией. Бутылочные глаза мерзавца отражали лимонные фонари. Из нагрудного кармана торчал уголок именного магнитного пропуска в райский

сад. В саду у Ивана Ивановича, без сомнения, кто-то был. Может быть, мать или старая тетушка. Может, невеста. Точно так же и здесь, на земле, у Ивана Ивановича еще оставались кое-какие связи: тоже какие-нибудь самоотверженные пожилые женщины, подававшие за него апелляции в небесную канцелярию. В Аду Иван Иванович работал не так давно, от силы годиков пять, на очень хорошей доходной должности. Проверял на входе списки осужденных и время от времени с аппетитом работал кирзовыми сапогами, кулаками, шокером и дубинкой.

У Семена Семеновича не было нигде никого. За все без малого 224 года работы с котлом и вертелом с ним не было такого случая, чтобы кто-то за него заступился, подал прошение или помянул добрым словом, что тоже важно. Его даже лихом не поминали. О нем все забыли, и сам он давно забыл те грехи, за которые вместо котла, как все нормальные люди, угодил в котловары.

И вот они сидели так, два этих совершенно разных человека, то есть, извините, черта, на этой троллейбусной остановке, с этой стороны «М.Видео», образовывая собой довольно негармоничную пару, но кто ищет на троллейбусных остановках гармонии – тот ищет даром: не того и не там.

Они сидели так, найдя в разговоре точки соприкосновения в общем недовольстве жизнью, а между тем судьба уже влачила к ним по жидкому октябрьскому асфальту Олега Николаевича Пташкина. Совершенно счастливого человека.

Олег Николаевич не был лыс и не был дурак. Работа у него была как у всех – дрянь-работа, зарплата как у всех – дрянь-зарплата, погода как у всех – дрянь-погода...

И тем не менее он был счастлив. Согласитесь, такие люди раздражают безмерно. Само существование их меж нас вызывает озноб и колики. От их оптимизма просто зеленеет в глазах. Такое ощущение, что они все это нарочно. Просто из зависти так говорят. Чтобы всем вокруг сделалось окончательно тошно.

Спросишь его:

– Как дела?

А он говорит:

– Отлично!

Скажешь:

– А цены как поднялись – скоро хлеба будет не купить!

А он говорит:

– Не замечал.

Скажешь:

– А погода какая пакость!

А он:

– Сегодня теплее.

Скажешь:

– Холодрыга!

А он:

– Морозец!

Скажешь:

– Какое пекло!

А он:

– Ага, красота...

В общем, всему, что ни скажешь, он поперек. Что с ним ни делай, о чем ни спроси – все у него хорошо, и точка. Хоть утопись.

И вот ехал этот счастливый Олег Николаевич в 59-м троллейбусе, и было ему выходить там, где сидели наши два черта, Семен Семенович и Иван Иванович. Один командировочный, а другой с лампасами.

Нормальный человек едет в троллейбусе и думает, как ему все надоело. Нормальный человек едет и думает: «Чтоб вас всех!», он едет и думает: «Хари!» – а этот Олег Николаевич думает: «Красота!» Нормальный человек едет и думает: «Сволочи!» – а этот...

В общем, услышали черти счастливого человека еще за три остановки, как он подъехал. И, конечно, тот, что с лампасами, прямо на глазах преобразился, залоснился, ущипнул командировочного за коленку и говорит:

– Ты только глянь, Сема, какой типаж канделябит! Ну сейчас мы на нем отыграемся... Сейчас мы ему покажем: «Красота!» – то есть «красоту»...

А Семен Семенович говорит:

– Не трогай его, Вань, пусть себе...

А с лампасами говорит:

– Совсем ты нюх на своих котлах потерял, Семеныч, вот доложу на тебя кому следует, увидишь небо в алмазах.

А командировочный отвечает:

– Докладывай. Черт с тобой. Мне уже все равно. Не боюсь я. Мне, Ваня, что так, что сяк, а хуже уже не будет... Помянуть меня добром некому. Тут все равно не оставят, «туда» не возьмут, а у нас внизу без таких, как я, работать некому будет.

Сказал это Семен Семенович, неожиданно для себя сказал, хотел было вздрогнуть от страха, да плюнул. Плюнул, и стало ему так легко, как за все без малого 224 года еще не бывало. Распоясался, в общем.

И вот, слово за слово, хвост за хвост, рога за рога... Тот, что с лампасами, конечно, первый на командировочного полез, а командировочный взял и ответил, давно ему врезать хотелось тому, что с лампасами. А с лампасами вцепился командировочному в плешивую шерсть. А командировочный кусался. А с лампасами матюгался. А командировочный царапался и пищал...

И покатались оба черта под колеса 59-го троллейбуса, в самую осеннюю жижу.

А Олег Николаевич вышел из троллейбуса и, поскользнувшись, едва не отправился следом за ними, но, слава тебе господи, схватился за фонарь и, сам не зная кому, сказал:

– Спасибо!

Повесть о коте

Странен человек, странен. Даже диву даешься, за какими портретами иной раз его застаешь... Разглядишь, бывает, физиономию свою в раме зеркала и замрешь, глаза выпучив, загнипотизирован впечатлением... Ведь это до чего изображено мастерски! Унизительно натурально...

Ф.М. Булкин

Проходя как-то раз из той комнаты в эту, задержался Федор Михайлович у зеркала, стал, разглядывая себя, так и сяк повертываясь поглядывал, делал О и У, наводя щеками разные кругалы. За спиной его сидел кот. Был он голоден, мрачно, пристально следил за хозяином.

«Что?» Заметив кота, дураком под взглядом его себя сразу почувствовав (не на все, что делаем мы, нужны нам свидетели), хотел было уж Федор Михайлович тыкнуть тапком его, чтоб шел, как вдруг идея одна пронзила, и, подобрав животное с полу, поднес его Федор Михайлович к зеркалу, указав ему его «ты».

– Ты! Видишь? Морда твоя?.. – пояснил здесь Федор Михайлович и, подумав, добавил еще более убедительно: – Так что вот, брат, каков ты...

Но кот завертлявился, отбиваясь, зарычал утробно и угрожающе.

– Посмотри! – убеждал его Федор Михайлович, постукивая в стекло коленкой свободного пальца, поднося кота то ближе, то несколько на отлёт. – Ты... ну? Ты! Видишь ты себя? Вот морда твоя. Понимаешь? – И обида, что кот не хочет никак смотреть, воротится от объяснения, задевала Федора Михайловича, оскорбляла.

Шел восьмой час холодного осеннего вечера. Пора, наверное, было ужинать. Но однако Федор Михайлович все торчал у зеркала, поглощенный уроком своим, утешая:

– Посмотри же, дурак, хоть раз... Взгляни! Догадайся, а?! Э! где тебе?.. Где тебе! Ме да ме... вот и все, что ты есть. Эх ты! Будешь ты смотреть или нет, скотина?! – И так, не выпуская кота, прошел с ним в кухню, откромсал кусок краковской, вернулся в прихожую, поманил кота запахом к отражению, колбасу держа пальцами, меж носом кота и плоскостью, нос его отражающей, смотрел нетерпеливо и вопросительно, но кот смотрел в колбасу одну и по-прежнему утробно рычал.

Федор Михайлович укреплял кота так и сяк на столешнице, уцепляясь за подмышки, держал его, настойчиво и пытливо вглядываясь. Кот же смотрел в отражение Федора Михайловича угрюмо, облизывался, крутил нижней частью туловища с хвостом, словно был выше он разумом человеческого и немислимой глупостью казалось ему производимое с ним...

«Не снисходит, черт с ним...» – сам с собой заключил, теряя терпение, Федор Михайлович, опуская кота на лапы, но тот отряхнулся до того презрительно, до того самоуверенно сделал дымом хвост, что от вида одного этого возмутилось все человечество в Федоре Михайловиче с новой силой.



Он опять ухватил кота и понес его в ванную, где, достав из аптечного ящичка флакончик зеленки, щедро выплеснув из него себе в руки, замарал ошеломленно умолкнувшее животное и, вновь поднеся его к зеркалу, трижды постучав по стеклу, повторил:

– Ты! Это ты... Да пойми ты, ты! ТЫ! ПОНИМАЕШЬ?!

Кот скользнул было взглядом мимо указанного, но внезапно зрачки его сконцентрировались, отражая Федора Михайловича, расширились дочерна, лунно блеснули, и, резко дернувшись, выгнулся он дугою, закружился вертелом, развернулся в воздухе чертом и, закрыв собою на миг отражение изумрудной воющей массой, толкнулся от Федора Михайловича когтями, изрыгая проклятия, и исчез.

– Увидал? Увидал! Увидал, скотина... Вот то-то, то-то же!.. – торжествующе произнес вслед исчезнувшему Федор Михайлович и еще долго стоял в раме зеркала, глядя с горделивой задумчивостью на располосованное, покрытое изумрудными пятнами свое отражение, разом всех высот, достигнутых разумом человеческим, своим опытом приобщась.

Ничего

Неизвестно никому, было ли с нами что-нибудь до рождения и после с нами что будет, будет ли? – неизвестно. С кем-то точно будет что-то, но не с нами уже, то есть, это выходит, жизнь продолжится после нас, что обидно, и хотелось бы хоть в щелочку подсмотреть...

Есть, конечно, утешительные о жизни загробной предположения, в них стремление к справедливости, с ними связанные надежды, скажем, рай земной – коммунизм: «Там воздастся несчастным радостью, а счастливым счастье припомнится, у богатых отыметя, ну а нищим будет дано...» – словом, всех сравнивает земля. И тому в подтверждение оставляем мы странную судеб летопись – горький прочерк на граните меж дат.

Для чего же эта вспышка во тьме? Для чего же это мгновение? Счастье, горе, радости – для чего? Эта книжечка о среднем, высшем образовании, данные загса и места жительства в паспорте, а затем – старение, подагра с сосудами, дряхлость, болезнь... и дата за прочерком – для чего?

...И однако же в этой бездне без края и компаса загорается вдруг в космической неизвестности искра та самая, что светлее всей темноты.

Даже если там ничто, забвение полное, расставание вечное, на одно мгновение светом быть дано тебе в темноте, светом видимым посреди неизвестности. Разве этого мало?

Ф.М. Булкин

Вне пределов возможностей человеческих хоть бы что-то создать свое. Что бы ни было это что-то, глобус или картина мира на полотне, – это есть палитра божественная, здесь и цвет, и его изменения, весь спектр красок Создателя. Свое – лишь повторение, воспевание, восхваление. Скажем, симфония – лишь попытка перепеть соловья. Только копия, только «перетворенье» Творца. Плагиат. Ибо как не повторять за Создателем, когда нам даровано зрение, осязание, слух и нюх? Нам дарован разум, и он констатирует, что попытка создания своего лежит вне пределов сущности видимой, то есть существования всего.

Михаил Сергеевич Мышкин решил при создании своего действовать, так сказать, от обратного. Против сущего и всего. Ибо чтобы что-то создать свое, сперва нужно как-нибудь создать ничего, из которого дальше – полная воля.

Таким образом, числа пятого ноль второго года семидесятого века прошлого Михаил Сергеевич Мышкин приступил к созданию НИЧЕГО.

НИЧЕГО – не шкаф, не черная комната и не «Черный квадрат» Малевича, под квадратом которого прозреваем мы много бóльшие впечатления. Мы глядим на квадрат вот этот и ждем, как что-нибудь в нем загорится, отразится, почудится, мы подозреваем, что художник просто-напросто закрасил черными красками то, что было до этого писано, но не удалось. Словом, что могло быть там до того. Уж по крайней мере, холст, натянутый на подрамник. Словом, черный квадрат – неудачный опыт, надежду вселяющий в зрителя, а надежды в зрителя не должно вселять ничего.

Это значило все забыть, ничего не видеть, не дышать, не чувствовать, не страдать, не быть, не существовать. Ощущение, со смертью сходное, но, однако, и смерть не то, ибо смерть, по мнению Мышкина, всего лишь продолжение жизни.

Ему же нужно было небытие, НИЧЕГО абсолютное, ни воздуха, ни вещества. Отсутствие всякой материи и пространства. Это должна быть полная пустота: ни неба, ни атома,

ни пылинки, ни воздуха, ни слуха, ни зрения... Мысли тоже. Идеи тоже. Но идея была, и она преследовала его...

На создание НИЧЕГО, полностью исключив все прежнее, потратил жизнь свою Михаил Сергеевич Мышкин, подтвердив своим жизненным опытом, что создать НИЧЕГО возможно, лишь ничего не создав.

Беглец

Решил приятное сделать ей, обратить, так сказать, равнодушие в благосклонность. «Здравствуйте, девушка! – говорю. А она мне: «Здравствуйте, дедушка, вы к кому? В какую квартиру?»

Мнится мне, что цель одна у нее: не то что писателя – человека во мне не заметить...

Ф.М. Булкин

Арсений Михайлович Уточкин уходил от судьбы. Вышел из дому крадучись, поздним вечером, ничего не взяв с собой, особенно паспорт, потому что написанное в паспорте и было тем, от чего Арсений Михайлович уходил. Паспорт выдан был ОВД «Хорошево-Мневники», новенький, чистенький и бессрочный. То есть... выдан в последний раз. Это-то, собственно, незадолго до начала нашей истории и насторожило Арсения Михайловича, доведя в размышлениях сперва до отчаянья, от отчаянья – до побега.

Заплатив государству пошлину, получив без проволочек удостоверение личности в сорок пять, он сперва почувствовал облегчение, связанное, как у многих из нас, с нелюбовью к паспортному столу.

«Слава богу, всё!» – убирая паспорт за пазуху, подумал Уточкин, и на этом сердце его внезапно остановилось, а остановившись, забилося дальше тревожно и подозрительно. «Всё?...» – стучало оно.

Паспорт новенький, багряная книжица, с золотым тиснением и гербом, не заляпанный, не потрепанный, не залитый пивом, не расцарапанный прежним котом, точно жить начинал Арсений Михайлович сызнова, от печатного оттиска на форзаце.

«Всё», – опять подсказало сердце.

Арсений Михайлович вышел из МФЦ и, вдохнув живительного осеннего воздуха, размышлял: бессрочный... значит, сроком не ограниченный, без предела... Получается, государство дало ему вместе с новым паспортом неограниченное право на жизнь и одновременно ограничило это право числом учетных страниц.

Пораженный этим открытием, Уточкин сел на лавочку неподалеку от здания МФЦ и похолодевшими пальцами стал листать и считать.

На форзаце – герб орла о двух головах, паспорт выдан, дата выдачи, код подразделения, подпись личности, серия; на второй странице – фотография удостоверяемой личности, неудачная, как всегда. Арсений Михайлович выглядел тут испуганным, но доверчивым и покорным. Под фото – фамилия, имя, отчество, пол и дата рождения. На третьей странице говорилось о том, где был впервые зарегистрирован Уточкин, по какому адресу и когда, далее шли незаполненные листы... и последний.

На последней странице бессрочного паспорта сердце вновь подсказало Арсению: «Сеня, всё». Очевидно и ясно, что у нового паспорта есть предел, и предел этот государство бессовестно прячет – вот что их это лицемерное «бессрочно» значит.

«Всё», – опять подсказало сердце.

Арсений Михайлович вновь вернулся к началу и от первого листа до последнего, еще раз, волнуясь, пытаясь ногтями за уголки разделить, удвоить странички, пересчитал заново, сколько бумаги на жизнь отводило ему государство. Государство отводило Уточкину девять прямоугольников, номеруя с обеих сторон. Экономило. Листов девять.

Девятнадцать страниц?.. Арсений Михайлович похолодел. Обман представился очевидным. Разве втиснешь жизнь, пусть вторую даже половину ее, пусть неудачную, пусть такого даже и неудачника, как Арсений Михайлович, в девятнадцать страниц?!

И Уточкин, решительно поднявшись с лавочки, зашагал назад, к МФЦ. Там выждал новую очередь, сел напротив окошка с номером своего талончика. Оттуда улыбнулась, не узнав Арсения Михайловича, девушка, у которой он только что был.

– Слушаю... – сказала она.

И, волнуясь, перебирая в пальцах гладкий веер страниц, Арсений Михайлович взволнованно объяснил:

– Девятнадцать страниц! Ведь это же безобразие что такое...

– Что именно? – уточнила девушка.

– Да как что?! Бессрочный – значит бессрочный, а здесь всего девятнадцать страниц... а что дальше?

– Дальше паспорта изымаются и передаются в органы ЗАГС по месту бывшей прописки.

– Как это – бывшей? – пролепетал Арсений Михайлович. – Да вы тут... да вы... да вы здесь... Вы хоть понимаете, что говорите?!

– Бывшей, – повторила она. – Поступившие в ЗАГС паспорта уничтожаются в установленном административном порядке с отметкой о кончине владельца. Что неясно?



– Но мне... Мне не хватит девятнадцать страниц! – задыхаясь от возмущения, закричал Арсений Михайлович. – Вы на людях... на жизнях человеческих бумагу здесь экономите? По-стра-нич-но?!

– Всем хватает! – ответили из окошечка, усмехнулись, милым жестом поправили челку. – Никто до вас жалоб не подавал...

– Ну еще бы! Они же все у вас... – Арсений Михайлович затравленно огляделся. Проклятые девятнадцать страниц бессрочного удостоверения казались теперь ему хуже прочерка на могильной плите... – Где они теперь? Где они?!

– Вопрос не в моей компетенции.

– Позовите вашего главного!

– Главный по вашей претензии, Арсений Михайлович, там. – И хорошенькая девушка в окошечке указала фарфоровым пальчиком в ламинированный потолок.

– Вы так говорите, будто это вас не касается... Бессрочный – значит бессрочный, а у вас бессрочное ограничено в девять листов!

– В десять, Арсений Михайлович. Плюс обложка. Проверьте.

Уточкин пересчитал, но от ошибки своей лишь на миг почувствовал облегчение: что такое еще один лист, разве это может спасти положение!

– Десять... Вы сейчас на мне экономите, а потом такая же, вот как вы, светлобрысая сэкономит на вас!

– Соблюдайте, пожалуйста, тишину.

– Тишину? Рот хотите заткнуть? Не заткнете!

– Количество страниц установлено законом для всех. Я не понимаю: чего вы хотите?

– Жить! – закричал Арсений Михайлович на все их гладкие полированные столешницы, столики и окошечки, отглаженные рубашечки, юбочки, пиджачки и галстучки, и улыбочки, и очки. И когда остальные граждане, оказавшиеся тут для решения мелких жизненных важностей, даже близко не имеющих отношения к главному, оглянулись тревожно на этого сумасшедшего, Арсений Михайлович повторил на последней ноте отчаяния: – Понимаешь, дура ты белобрысая... Жить!

Никому

Пропускает кобра такая каких-то зеленых с коробками в дом, и туда-сюда они этажами. Ждешь по полчаса, пока придет лифт. Он придет, а там этот, зеленый. Как японец стоит, улыбается. «Вам क्याкой?» – говорит, как будто сам я кнопку в собственном доме нажать не смогу. Паразиты... Ему, значит, можно в мой дом, мне – нельзя. Это слов просто не хватает мне, что такое творится. Все же, думаю, могла бы запомнить она, что я – это я, что здесь я живу, квартиру мою и фамилию. Ведь же по ключу домофонному прохожу! Ведь и в камеру она меня видит...

Но, однако, и о таких вот писать приходится, ничего не поделаешь. Не заболеешь – не выздоровеешь. Без заразы хворь не сойдет.

Ф.М. Булкин

А кому квартира, дача, машина... Им? Вот умру, похоронят они меня, дай-то бог решатся на ресторан, как не решиться? Все же будет им стыдно, что не как у людей. Решатся. Будут дальше жить, будут, сделают евроремонт, на помойку стол мой письменный выволокут. Даже ящиков не проверят. Дожидаются. И дождутся. Этот тоже жить будет после смерти моей, Кулебякин. Будет жить себе такая вот подсидела подлая, а я – нет. Умру, тут никто не всполохнется. Повышения ждут за мой счет, это ясно. Кулебякин – гадина подлая, Сидорякин – такая же гадина, а гадюки вообще живучи.

Написал завещание, вложил бережно в файл и в папочку. Шел в контору нотариальную, на углу. Оттерпел очередь, сел за стол. Открыл папочку. Дал нотариусу прочесть.

«Больше ничего, Валентин Николаевич?»

«Ничего».

«Очень странное завещание...»

Промолчал. Плечами пожал. «Очень странное»? Потому и пришел сюда, чтобы «странное» было заверено, было с печатями. Документ с печатями, при свидетелях и заверенный нужен был.

Он поставил подпись под подлинник и под копию. Оплатил.

Завещанье гласило: «Ничего от меня не останется. Никому».

Бульвар Долготерпова

Господи! Есть ли выбор у нас или все за нас Тобой предрешиено? Ведь не сами же мы выбрали, что похуже? Ведь не сами, наги, из райских врат – семенами в черную землю?

Если б я был Тобой, я б такую, как женищина эта, вообще создавать не стал. Что ж калечить Адамовы ребра? Но вчера соседка с нижнего этажа пришла, та, что прежде собирала на домофон сто рублей, а теперь, сказала, триста нужно платить. За консьержку...

Ф.М. Булкин

Долго брел путем предначертанным Григорий Ильич Долготерпов. Здесь мы видим, что даже фамилия, данная судьбой Григорию Ильичу по рождении, не оставила выбора этому человеку. Долготерпов – значит, терпи. Бог терпел, нам велел, нашим дедам и прадедам, детям, внукам и правнукам, Долготерпову же особенно подчеркнул. В смысле долготерпия эталоном служит человеку Создатель. Ибо нам терпеть все это – сколько Он даст, а Ему всех нас – бесконечно.

Насчет эталона же, о чем непременно жаждем вставить в этот рассказ, потому что будет ли следующий – в Божьей власти, убедились вчера. Была луна круглая, желтая; под луною этой, вдоль бульвара, где гуляли по случаю теплого вечера, светили желтые круглые фонари. С чем был сделан нами несложный вывод: наш Создатель дал нам на ночь один фонарь, остальные же мы развесили сами.

Но вернемся к долготерпению, праву выбора и последствиям, ибо сказано: ни один волос без Господней гребенки. Но при этом велено выбирать. Вот Андрей Константинович, вы его не знаете, если б предчувствовал, что его вчера машина у нас на перекрестке собьет, разве был бы столько отважен, чтобы хоть на шаг вчера из подъезда? Разве стоили пиво-вобла-батон такой жертвы? Да мы все бы с вами, товарищи, сидели по домам, если б знали, что с нами будет!

Но о Долготерпове.

Отец Григория Ильича, Илья Николаевич, упокоился Долготерповым. Дед его, прадеды и прабабушки все были Долготерповы, в оправдание своей фамилии долгожители. Правда, мать Григория, Долготерпова Анна Аркадьевна, ныне тоже покойная, была в девичестве Трёпкина, с чем судьба дала ей выбор в смысле фамилии, не меняя трагической сути.

Словом, предстояло долго терпеть на своем пути в соответствии с кем-то сделанным выбором, и Григорий Ильич терпел. Он терпел сперва ясли, потом детский сад, потом школу, потом университет, потом жену свою Валентину, работу свою, государство свое, терпел, когда эти безмозглые перекрывали день изо дня асфальт, отключали горячую воду... Григорий Ильич терпеливо ходил проложенным кем-то тротуарным покрытием на работу, с работы на Богом данным троллейбусе – словом, если не дали выбора, приходилось терпеть.



Терпеливый был человек Григорий Ильич, а впрочем, терпенье, товарищи, – спасительный путь от сегодняшнего заката к завтрашнему рассвету. Тем и щепка движется рекой по течению, и осенний лист падает, и земля не первый год вертится, в ней плодится, и множится, и покоится, и все это, между нами говоря, держится на терпении. А его-то и не хватает.

Отчего же вспомнили мы сейчас Григория Ильича? Отчего посвятили человеку, пусть терпеливому, но столь же обыкновенному, как мы все, этот рассказ? Отвлекли на Григория Ильича без спросу ваше внимание?

Дело в том, что бульвар, по какому шли мы вчера, носит имя героя нашего, нашего Григория Ильича: бульвар Долготерпова.

Говорят, что в Англиях и Швейцариях, прежде чем тропу асфальтировать, сеют траву газонную, после ждут, где удобнее вытоптать ее европейскому человечеству, сократив свой путь. Но у нас, возможно, как раз из заботы о продлении пути этого, проложат сперва асфальтированную тропу, а российское потом человечество, сокращая по-своему, топчет траву. К чему это вспомнилось? Вот к чему. Дело было в прошлом веке, в 99 году. Был январь, и выпало много снега, этот снег красиво укрыл подушками голые тополя, заодно застелив белоснежную скатертью пустырь вдоль дороги. Григорий Ильич же, как уже говорили мы, был терпелив, терпелив, но он торопился и, не стерпев, сокращая путь, проложил в нетронутой целине тропу до метро, что и носит теперь название своего основателя.

Повесть оптимистическая о том, как Федор Михайлович в живых остался

Это мне за нее платить? Это мне? За нее?! Чтоб она, проклятая, за мои же деньги ела-пила и опять не узнавала меня ежедневно? Не узнавала, знать меня не хотела, не пускала в собственный дом?

Но соседке, конечно, без возражения заплатил. Потому что, если начну объяснять, так она подумает: денег нет, или есть, да жаден... Ну их к лешему. Лучшие пусть уж будет эта консержка.

Ф.М. Булкин

Многие в мире бродят бактерии, и у бактерий этих так задумано, чтобы в человека попасть, хоть как-нибудь, и свести на нет.

Узнав однажды из новостей телевизионных плохие новости, что опять нашла на человечество смертоносная бацилла какая-то, поискал наш Федор Михайлович от нее в интернете спасения – и там ему было уяснено, что у человечества пока средства от него избавиться нет.

Решил бороться сам, один на один. Отважный был человек. Не каждый со смертью рискнет сцепиться вот так, в рукопашную, да еще один на один.

Не каждый рискнет, да всякому, как известно, приходится.

Начал Федор Михайлович с малого, самостоятельно. Впотьмах, можно сказать, на ощупь. С нуля и личными средствами: зарядка, гимнастика, холодные обтирания, бег на месте.

Овощи есть, понятно, нельзя, в них нитраты. В масле – убийца-холестерин. В мясе – цепень. Колбаса ему сделалась отвратительна, из чего делают ее – ясней ясного. Цвет ее розовый, запах ее неприятный. Порубят в колбасу собак и холерных крыс каких-нибудь, и ешьте ее потом – долго в любом случае не протянете. Остается кефир. Кефир делают из коров. Корова – тоже мясо. В мясе – цепень. В молоке от цепня – глисты, огнеупорные, как в интернете сказано. Сколько ни вари – выживут и погубят. Кефир из молока. Значит, и кефир нельзя. Вообще есть нельзя. Раз есть нельзя, думает, – обойдусь.

Перестал есть наш Федор Михайлович, только одной гимнастикой обходился. Держался, нужно сказать, молодцом. Похудел, помолодел, подтянулся.

И все равно со временем ощутил, что, как ни старается, – даже не кушая, помирает.

Стал думать еще.

Дело тут, сообразил, не только в питании, раз с этим у меня уже все в порядке и я не ем ничего, а в дыхании!

Сделав такое открытие, пошел он в аптеку и на большие деньги купил себе масок марлевых, потому что ездить приходится как-никак в общественном транспорте. А там не люди ездят – бациллы. И по лицам видно: бациллы. И по их выражениям.

Первое время дело жизни наладилось. Опустила смерть руки, отступилась даже в некотором уважении. Ладно уж, решила, подожду. Не впервой.

Только маски менять приходилось.

Догадался Федор Михайлович, что, пока он маску меняет, дышать хоть мгновение, а приходится беззащитно, тут-то бацилла подкараулит его и впрыгнет.

Пришлось думать дальше. И ведь додумался! Вот до чего человек был догадливый! Каждую подлость учел!

Взял да и перестал дышать. Ну его, думает, от греха подальше...

И это прекрасный способ не умереть, товарищи. Очень советуем. Берегите себя! Не дышите! Не кушайте!

И останетесь живы.

Человек без маски

Из многих судеб судьбы наши жизненные сплетаются; вот не встретишь, бывает, кого-нибудь, считай – повезло... Вот насчет этой женщины сразу можно сказать, если б не было ее – лучше б было! Только как узнал бы я, что мне лучше, если бы ее не было?

Ф.М. Булкин

Человек без маски появился на площади Народного Ополчения летним вечером. Он немного прошелся по плиточкам, вдоль газонов, посидел на лавочке. Почитал. Близко ни к кому не подходил он и держался от всех на два метра, положенных принятой конституцией «Бесконтактного человеческого общения». Ведь опасно близок прежде был человек человеку!

Что тем более недопустимо в обстоятельствах эпидемии под угрозой полного вымирания: поцелуи, рукопожатия и все прочее. Выжить можно только не контактируя. Самое лучшее – вообще не дыша. Это тоже многие пробовали: оказалось, способ профилактики вируса «недышанием» – панацея. Стопроцентно помогает, не заразившись вирусом, умереть от удушья.

Ввели бесконтактные карты. Бесконтактные праздники, парки увеселительные, бесконтактное голосование. Вошли в моду бесконтактные отношения, лечение, образование, отдых и труд. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО БЕЗ КОНТАКТА! – стало лозунгом нового времени.

Ученые утверждали, что в скором времени разработают БЕСКОНТАКТНЫЙ СПОСОБ ПЛОДИТЬСЯ. Впрочем, ученые обещали в скором времени и вакцину от вируса. Но на эту вакцину надежды, разумеется, было меньше, чем на бесконтактный способ зачать.

БЕСКОНТАКТНО! – уверяли с бесконтактных экранов бесконтактно счастливые многодетные семьи. ДЕЛАЙ КАК МЫ! БЕРЕГИ СЕБЯ!

Очень скоро был изобретен способ предохранения от заражения «МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ». Прежде это была забава аттракционная, теперь же еще одна панацея. Обладатели новшества выкатывались на улицу в силиконовых пузырях. Трехслойный пузырь был дороже, но прочнее, надежнее.

НЕ УСПЕЛ КУПИТЬ МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ? ЗАКАЖИ ПУЗЫРЬ В БЕСКОНТАКТНОЙ ДОСТАВКЕ! СКИДКИ ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ!

ЖИВИ И ПРЫГАЙ!

САМОКАТ ПОД КУПОЛОМ!

БЕСКОНТАКТНЫЕ СИГАРЕТЫ!

Те, кто не мог позволить себе ПУЗЫРИ, покупали доступные бесконтактные банки. Хожение в банках в самом деле обходилось много дешевле. Дело в том, что ПУЗЫРИ (даже пятислойные) хотя и гораздо красивей банок, переливаются всеми цветами радуги, но, однако, непрочны. Стекло же дешевле значительно и, хотя тяжелее, надежнее. Парниковые же конструкции совсем дешевы, и у многих дачников сохранился полиэтилен. Ибо воздух, надышенный в парнике, – твой собственный, и он безопасен.

Век был назван ВЕК БЕЗ КОНТАКТОВ.

Бесконтактный! Будь бдителен! ЗНАЙ! Рука, протянутая тебе, не Спасителя, но Иуды!

Так тонущие, помня этот важный пункт конституции, полностью отказывались от протянутых рук и тонули в сознании, что, по крайней мере, тонут от собственных.

НИ ШАГУ БЛИЖЕ!

Трудно было первое время с бесконтактным приемом пищи. Многие умерли от истощения, стараясь соответствовать этому пункту. Но это были потери во благо самоспасения. СПАСИ СЕБЯ САМ! – советовал загорелый белозубый актер, доставая себя за волосы из воды. Чтобы поцеловать друг друга в полной безопасности, влюбленные целовались через экраны.

Родители какое-то время бесконтактно очерчивали детей своих на асфальте мелом, и каждое дитя нового мира знало, что перейти меловую черту грозит контактом и гибелью. Впрочем, очень скоро не стало ни детей, ни родителей.

ОСТАНОВИСЬ, ЕСЛИ ЛЮБИШЬ! – предупреждала влюбленных разделительная черта на плакате.

ЛЮБИШЬ МЕНЯ? ДОКАЖИ БЕСКОНТАКТНО!

Никогда не собьет машина тебя, не зарежет в пьяной драке сосед... **ЖИВИ БЕСКОНТАКТНО!**

Таким образом, уже в 2031 году конституцией, принятой в 2021-м, была обеспечена полная победа над эпидемией.

Человечество вымерло полностью без всякой атомной бомбы, падения кометы, разрушения озонового слоя и вируса. Бесконтактно.

Часики

Помню, в «Детском мире» купила мне бабушка часики; так, игрушка, конечно, пальцем стрелки переставлять, а зато любое время на них можно...

Очень ими гордился я, сам с собою халтурил, что настоящие. Понарошку спросит, бывало, бабушка: «Феденька, сколько времени?» – «Много, бабушка!» – говорю...

Но мне нужно было, чтоб и другие заметили. Помню, идем мы с нею по улице, я манжеток с курточки отогну и смотрю на людей: что они? Как, думаю, удивятся, когда заметят... Замечала же маневр мой только бабушка. Говорила: «Феденька, холодно, заворот опусти».

Ф.М. Булкин

А один из нас, Олег Алексеевич, так специально делал себе: стрелки на часах нарочно вперед отведет, чтоб потом сперва ужаснуться, как время летит, а после сказать себе с облегчением: слава тебе господи, сэкономил...

Даже странно, какую бездну воображения, энергии и смекалки тратят люди на то, чтоб самих себя обмануть...

Повесть о венской столовой булочке

Так бежит человек из детства не кругом, но лабиринтом жизненным, язык высунув, глаза вспутив, торопясь успеть вовремя на конечный, от родной парадной до родной проходной, вдоль знакомой спины забора гаражного с красноречивой надписью про «Динамо».

Ф.М. Булкин

Настал и такой момент в жизни одного из нас, Сергея Михайловича, что вдруг шел он из учреждения пятничным вечером, торопясь поспеть к дачным сборам, ибо ехали всегда в пятницу, часу в половине девятого, с расчетом, что пробки к времени этому рассосутся. И он шел, подгоняя себя ногами и мыслями, с венской булочкой из столовой за пазухой, и вдруг как-то мельком нечаянно, точно мимо чего-нибудь любопытного проходя, подумал: «А вот черт меня дери, не поеду!» – с чем продолжил суматошный свой путь, проложенный долгой супружеской жизнью, наблюдая, как против его движения в тополином цветении волочится в другую сторону пух, представляя, как обрадуется опять венской булочке его внучка Дашенька, на даче жившая, и, думая так, опять незаметно подумал: «А вот черт меня дери! Не пое...»

Но, однако, тут подошел автобус его, и, мысль не додумав, Сергей Михайлович был отвлечен насущным – привычно тревожными поисками проездного удостоверения.

Мысль вернулась, когда, спускаясь ступенями эскалатора, Сергей Михайлович, не сдержав себя в мерном движении, заскакал под неотвязный мотив «не-по-е-ду...», обгоняя прочие тела под землю ехавших, у которых (кроме женщин) на спинах жаркий летний месяц рисовал круглые темные пятна, и, удачно поспев к поданному составу, прислонился щекой к предупредительной надписи «НЕ ПРИСЛОНЯТЬСЯ».

«НЕ ПОЕДУ» – нечаянно прочиталось в нем, но тотчас выдавилось под телесным напором, исчезнув почти. И, протестуя, чувствуя, что теряет нечто гораздо более важное, с облегчением вспомнил... что не поедет...

Выйдя из метростанции, Сергей Михайлович какое-то время привычно боролся со стеклянным «ВЫХОДОМ», створка дверей которого особенно напирала сквознячным резиновым духом, оттесняя человеческие усилия прочь, но задние напирали, и, вырвавшись, уже мчался он к троллейбусной очереди, повторяя как заклинание...

«А вот черт, а вот черт дери... не поеду!»

Поехав, со странным удивлением вглядывался в серые усталые лица попутчиков: и они тоже едут куда-то, может быть, нехотя... И ему было грустно.

Выйдя из транспорта, Сергей Михайлович был застигнут звонком супруги своей, чтоб купил он батон, пакет молока, и... радостно вспомнил, что...

...А вот черт дери, не поедет! Или можно заодно купить и бутылочку. Живо вообразил себе, что, когда уж доедут до дачи они и всё наконец успокоится, он присядет в флоксовых сумерках на садовую лавочку, и бег его остановится в птичьем щебете простым человеческим счастьем...

В прихожей встретили Сергея Михайловича многие сумки, и некрасивая женщина лет давнишних, ужасно тревожного и сердитого настроения, с бисером капель на сливовых щеках, совсем непохожая на прежнюю его давнишнюю любимую женщину, что-то ему кричала, и с удивлением подумал Сергей Михайлович, как он мог... и черт его дери! не поедет!...

И с мыслью этой взялся поставлять сумки к лифтовым дверям, вынося все, что велено, и опять думал, почему с дачи и на дачу всегда и вечно везут они одинаково сумками и что он, черт его дери, не поедет!

В этот момент совершенно нечаянно выдохнул крамольную мысль свою вслух, и, оформленная в слова, неожиданно обрела она в нем весомость бесповоротно.

Очень скоро придя в себя от услышанного, супруга нахмурилась, размышляя, вступать ли в спор или просто с молчаньем ожидать, когда схлынет напавшая на Сергея Михайловича дурная решимость, и, размышляя несколько времени так, смотрела на него, и смотрела, смотрела... и тоже Сергей Михайлович смотрел на нее, и смотрел, и это было еще страшнее.

Лязгнув, распахнулись лифтовые двери, нарушая молчаливое противостояние их, но настойчивым лязгом своим еще более утвердили Сергея Михайловича в решении, и, дивясь на себя самого, отступая от пасти лифтовой, бунтарем извлек он вдруг из-за пазухи венскую столовую булочку и, впервые в жизни откусив ее сам, поперхнулся, закашлялся и совершенно демонстративно умер.

Страшная спутница

Будьте благословенны, выходные, созданные Богом для отдыха, прерывающие вечный бег человеческий из понедельника к понедельнику сорока восемью часами праздности и безделья, составляющими как недельную, так и конечную цель нашей жизни.

Ф.М. Булкин

Который день преследовала Вадима Петровича Самоежкина страшная спутница. Он оглянется – она здесь. Самоежкин в арку – она с наружной поджидает его стороны. Он в автобус бегом, еле дух переведет, сядет, отдышится, мысленно перекрестится, а она сидит слева.

Вид ее был известный и приметы весьма характерные, всем нам так или иначе знакомые и способные довести узнаванием до нервного истощения и сердечного приступа каждого из живущих.

«Женщина, неопределенного возраста, рост 160–180, сложения худощавого, одета в черный плащ-пальто, кроем саван. Руки длинные, пальцы тонкие, ногти острые, капюшон».

Прежде никогда такого ужаса с Вадимом Петровичем не было. Но все случается в первый раз.

Он решил посоветоваться с приятелем, имеющим отношение к правоохранительным органам, рассказал все как есть. Хотя и стыдно бояться женщины, но, вообще-то, смотря какой. Приятель, выслушав, отнесся к случаю с пониманием, посоветовал написать заявление в полицию. Поразмыслив, Вадим Петрович под конвоем ужасной спутницы пошел в дежурное отделение по месту жительства. Та проводила Вадима Петровича к проходной, не решившись войти в хорошо освещенное помещение дежурки. Объяснился с дежурным через пуленепробиваемое окошечко. Написал заявление с просьбой меры принять, оградить, защитить, наложить на приближение запрет. Преследовательницу свою описал сколько мог подробнее, по приметно, фотографий несколько приложил. С чем дежурным принято было заявление Самоежкина и составлен был протокол.

Самоежкин описывал противоправные действия своей спутницы так: «Назойливое, круглосуточно совершаемое против воли моей слежение, проникновение в квартиру, места частного и интимного посещения, умышленно подстроенные встречи на улице, так же во всех учреждениях, где имею место я быть. Преследовательница использует психологическое давление, на вопросы мои, требования оставить в покое меня – молчит».

Самоежкину выдали КУПС – квитанцию, удостоверяющую, что заявление его принято, – с обещанием произвести по факту проверку. Из участка вышел он с большим облегчением, с верой в поддержку и профессионализм доброжелательно настроенных органов при погонах с дубинках.

Она ждала Вадима Петровича под фонарем.

Через день на телефоне горячей линии кризисной психологической помощи жертвам насилия был зарегистрирован звонок Самоежкина. Той же ночью – еще один. По звукозаписи регистратора заметно, что звонивший на грани отчаянья и нуждается в экстренной психотерапевтической помощи. Был записан на бесплатный прием терапевта, на прием не пришел.

Всю неделю следующую, по совету того же приятеля, Вадим Петрович помогал органам, собирал доказательства, фотографировал на телефон следившую, активно напоминал звонками в дежурное о своем заявлении, умоляя действовать по возможности расторопнее, применить к нему меры защиты, вызывая полицию всякий раз, как преследовавшая оказывалась в квартире.

Был Вадим Петрович на пределе сил человеческих, был на грани нервного истощения. Заговаривал с преследовательницей на кухне, ибо страшная, с-того-светная, как и все эти адские потусторонние приведения и призраки, ввиду своей телесной нематериальности имела способность проходить сквозь стены и двери. Спрашивал, что ей нужно, она молчала по-прежнему. Из молчания этого становилось яснее ясного – что.

В воскресенье в истерическом состоянии видели заявителя сперва на «Октябрьском Поле», потом на Тверской. Он бежал, мелькая отраженьем в витринах бутиков, без оглядки, стараясь оторвать от земли исхудавшие ноги, всхлипывал, что-то выкрикивал и взмахивал рукавами. За Вадимом Петровичем, распахнув полы своей черной мантии, обнаружив под ними такое же черное содержимое, в самом деле неотступно и молчаливо следовала она.

Никогда еще ни один преследуемый не давал столь точных примет этой женщины, не предоставлял в полицию столько фотосвидетельств, доказательств существования в реальности этой гостьи из темного мира. По приметам, описанным в заявлении, не единожды составленным фотороботам, снимкам с мест событий и фрагментам записей городских наружных камер слежения и регистрации впервые удалось зафиксировать материальность присутствия в нашем мире той, что доселе казалась порождением данных статистики, больной фантазии и расстроенной психики... И тем не менее по истечении тридцати дней со дня регистрации заявление Самоежкина было признано некорректным, обвинения – безосновательными, а само преследование – не несущим угрозы жизни, с соответствующим этому заключению отказом в дальнейшем расследовании, невозможности наложения запрета на приближение и отказе от мер привлечения преследовательницы к ответу.

На звонок в прокуратуру Вадиму Петровичу по заявлению его ответили: «Содержащиеся в предоставленном заявлении факты, скриншоты, фотографии и свидетельства тщательно изучены и проверены и, хотя являются подлинными, не являются доказательством для суда; сложившаяся ситуация вне компетенции органов правопорядка».

В первый день наставшего следом за разъяснением прокуратуры месяца несчастного Самоежкина и его страшную спутницу в последний раз зарегистрировали видеоискатели камер наружного наблюдения на улицах нашего города. Безднадежно сторбившись, опустив капюшон, Вадим Петрович покорно брел следом за своей тенью.

Мертвый Аркадий, или Три ершика

Много сказано было нами о возможностях духа нетленного за гранитной чертой, там, где мы еще не бывали. Но, однако, не свершивший еще, лишь предполагающий путешествие, не свидетель ему, а лишь стоящий на пристани, – фантазер.

Так сознаемся: только надежда одна служит нам спутницей в путешествиях по загробному миру. С чем выходит, что даже самоубийство можно было бы предотвратить много действенней не угрозой Господнего непростения, но гораздо более действенным предупреждением, что Его вообще нет.

Ф.М. Булкин

Снится сон Аркадию, вечный сон, страшный сон. Будто мертв лежит он во теле своем, мертв лежит неподвижный, глядит, не видит. Одна темнота кругом, ничего, никакой надежды не возникает у Аркадия мертвого, кроме... надежды. Так привык человек надеяться, что, как птица феникс, может возродиться эта жизнеутверждающая иллюзия из праха и пепла. Птица эта настолько живучая, даже в случае необратимого, что не веру в Господа Бога нашего, но ее саму возносим мы к небесам.

«Как же так? – думает мертвый Аркадий. – Господи! Помоги... Обещал же ты, что здесь что-то будет. В клинической смерти побывавшие говорят про туннели, на свет ведущие, – сколько раз слышал я это, читал, и про Страшный суд, про врата загробные, ад, и рай, и царство небесное... Где же все? Я надеюсь, это не навсегда... Что угодно, только не так; что угодно, только не это...»

Ведь сейчас жена войдет, увидит меня и вызовет скорую. Установят они, что сердце не бьется, положат в мешок, закопают в землю. Господи, сделай так, чтоб пожил я еще чуть-чуть... хоть немножко, минуточку... хоть секунду...»

Удивительная штука выходит, да? Вот вам жить, торопить троллейбус. Сколько этих бесценных секундочек даром, зря? Сколько их сну отдали мы, книгам, кинематографу, работе, учебе отдали мы, на проезд потратили в автобусах и троллейбусах, в ожидании лучшего, на надежду, что за «сейчас» встанет радужно жизни истинной счастливая бесконечная полоса. Жизнь потратили в ожидании жизни.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.